

ГЕРЦЕН: ПИСАТЕЛЬ, АВТОР И ЕГО ГЕРОЙ*Дьердь Зольтан Йожа*

Доктор философии (PhD) (по русской литературе),
адъюнкт кафедры русского языка и литературы Будапештского
университета им. Лоранда Этвеша (ЭЛТЭ).
1088, Budapest, Múzeum krt. 4/D.
E-mail: jozsagyz@gmail.com

Предмет изучения — сложный феномен нарциссизма в творчестве и личности Герцена. Нарциссизм в первую очередь рассматривается как осмысленные пути к самопознанию, благодаря чему происходит постепенное преодоление автобиографического принципа в беллетристике. Особое внимание уделяется и герценовской индивидуальной интерпретации элементов мифа о Нарциссе. Анализ основан на изучении обширного материала, включая тексты автора, воспоминания современников, оценки историков литературы. Проблема получает особую важность в свете теории Бахтина о взаимодействии автора и героя произведения.

Ключевые слова: Герцен, миф о Нарциссе, нарциссизм, автор и герой, самопознание, «внутренний человек», «лишний человек», зеркальность, психопэтика.

DOI 10.17323/2658-5413-2020-3-1-138-173

Герцен, эмблематичный представитель дворянской культуры второй трети XIX в., вошел в русское сознание как своеобразное явление. Это объясняется его многоликостью: писатель, философ, публицист, мемуарист, редактор, издатель, общественный деятель, сторонник так называемого дворянского революционерства — вот лишь некоторые из наиболее распространенных энциклопедических определений. Все это предполагает — поскольку речь идет о родоначальнике русского персонализма — сильную личность, стремящуюся запечатлеться в памяти будущих поколений. Питавший необыкновенный интерес к собственной особе, Герцен оказался в то же время в роли продолжателя традиций русской гносеологии, универсализма, стал наследником духа русского энциклопедизма, берущего начало в пестрой эпохе Просвещения, и родоначальником русской гносеологической прозы. Он встал на путь провозглашения первенства принципа самопознания, покоящегося на всевластном начале индивида (Гурвич-Лишинер, 1996: 143; Йожа 2018а, 2018б).

Едва ли подлежит сомнению, что одержимость своей персоной, постоянное тяготение к самопознанию и самораскрытию, мотив избранничества, которые

широко обсуждаются в литературе о Герцене, во-первых, наводят на мысль о нарциссическом складе личности, во-вторых, оставили следы и в его текстах, принадлежащих к дискурсам, в высшей степени отличающимся друг от друга¹. Данный факт, осложняясь аспектами автобиографичности, предполагает контаминирование нескольких методологий, близких к мотивоведческим и психопоэтическим исследованиям, в силу сплетения образа автобиографического героя и фигуры «лишнего человека»², осложненных атрибутами, принадлежащими к типу Нарцисса и нарциссической личности. Что касается методов психопоэтики, мы постараемся принимать во внимание традиционно сложившиеся способы изучения соотношения психики автора и текста. С другой стороны, считаем необходимым учесть и модель Е. Г. Эткинда, предлагающего в введении к своей книге монографическую отработку принципов, которые идентифицируются ученым как отражения векторов, предначертанных ориентацию русской литературы начиная с Пушкина и вплоть до Чехова. Если даже не вполне эксплицитно, в трактовке Эткинда психологизм, характерный для литераторов данной эпохи, синкретически возведен к их стремлениям открыть духовный первообраз, которые соответствуют поискам «внутреннего человека».

Забегая вперед, заранее заявляем, что вопрос о «внутреннем человеке», наряду с вышеизложенным кругом проблем, затрагивается в ключевом художественном произведении Герцена — в романе «Кто виноват?». Через фигуру протагониста Бельтова открывается путь к размышлениям о возможности реализации наи-

¹ Применение методологии, в рамках которой тексты автора рассматриваются как единый корпус, не чуждо практике, установившейся в герценоведении. Такой подход может быть вполне оправдан, во-первых, в свете наблюдений Л. Я. Гинзбург относительно свойственного Герцену жанрового синкретизма, который уловим уже в ранний период его творчества. Во-вторых, как будет показано в дальнейшем, сам юный Герцен поставил перед собою цель обновить «форму повести» путем включения разных дискурсов, традиционно не причисляемых к кругу литературных явлений. Замысел реализовать идею единого синкретического жанра не в последнюю очередь коренился в его сильном увлечении энциклопедизмом. Смешение жанров присуще и мемуарам «Былое и думы», которые отличаются, на взгляд Гинзбург, использованием приемов, характерных для романа. Исследовательница уделила внимание трудности жанрового определения переписки Герцена с невестой, Н. А. Захарьиной. Заметим, что своеобразие эпистолярия во многом обусловлено впечатлениями от чтения Данте Алигьери, Э. Сведенборга, мистической и религиозной литературы: в повествовании этого типа нередко соблюдается принцип сохранения тождества автора-очевидца, рассказчика, и героя. С другой стороны, на основе типологических совпадений, продиктованных духом эпохи, переписку Герцена в целом можно сравнивать и с «Разговорами с Гете» И. П. Эккермана, так как она сходным образом порождается с целью закрепить историю становления идей и поэтики. А переписку с Захарьиной Гинзбург рассматривает как своего рода художественное произведение, считая ее «уникальным документом русского и вообще европейского романтизма» и подчеркивая, что Герцен сам одновременно обращается к ней как «документу» и «поэме». Письма «предназначены дойти до потомства», сохраняют голоса корреспондентов, которые, по словам адресата, «избранные <...> будут слышать <...> и по смерти» (Гинзбург, 1997: 12).

² Г. Н. Гай прослеживает процесс разработки образа «лишнего человека» в эпических произведениях Герцена: «Черты “лишнего человека” отмечены Герценом и в автобиографическом произведении “Записки одного молодого человека” (образ Трензинского), и в повести “Долг прежде всего” (образ Анатоля), и в романе “Кто виноват?” (образ Бельтова)» (Гай, 1959: 74).

высших стремлений индивида. Через своего героя Герцен непосредственно касается проблематики «внутреннего человека». Н. И. Пруцков справедливо делает акцент на стремлении действующих лиц романа к обнаружению в себе идеала «внутреннего человека», ориентированного на вечные ценности: «Всех участников трагедии объединяет одно чувство — *желание освободиться от условностей ходячей морали и общественного мнения, противоречащих естественным влечениям прекрасной природы человека*» (Пруцков, 1962: 579) (здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, курсив мой. — Д. Й.).

Данный круг понятий никак нельзя проигнорировать в случае Герцена. В то же время, как мы увидим, у Герцена и колебания насчет точного определения понятия эгоизма, и амбивалентное его отношение к этому понятию, и собственный *нарциссизм* неотъемлемы от выработки своеобразной «нарциссологии», в результате чего размышления над элементами мифологемы о Нарциссе постепенно становятся своего рода референтами в текстах автора. С точки зрения поэтики Герцена этот вопрос небезынтересно исследовать в ракурсе комплексной проблематики *Герцен-писатель, Герцен-автор и его герой*. Проблематика представляется действительно комплексной, поскольку исследователю почти всегда трудно разграничить Герцена-человека и его двойника-писателя. Важно, что для него самого это, по-видимому, представлялось дилеммой, и поэтому, думается, невозможно дифференцировать «человека» и «писателя/мыслителя». Иными словами, в статье речь пойдет преимущественно о Герцене-авторе, но характерный для него самоанализ существенно осложняет вопрос о разграничении его ипостасей. Однако как раз благодаря такой сложности Герцен и стал родоначальником русской гносеологической прозы.

Тема статьи неслучайно соответствует теории М. М. Бахтина, квинтэссенция которой выведена в заглавии его книги «Автор и герой в эстетической деятельности». Мы заранее фиксируем, что Бахтин, давая определение произведения словесного искусства, принципиально придерживался исходного принципа акцентировки «эстетического события», художественной ценности как решающего фактора. Этот концепт стал доминантой его теории о сложном отношении автора к собственному герою. Мы вынуждены оговорить, что Бахтин лишь коснулся, без попытки анализа, разграничения понятий «автор» и «писатель»: «Это завершение бесконечной, напряженной, всегда открытой темы и возможного этического поступка-жизни совершается через отнесение события — заданным смыслом которого она является — к данному человеку-герою автором, причем этот герой-человек может совпадать с автором-человеком <...>, но герой произведения никогда не может совпадать с автором-творцом его, в противном случае мы не получим литературное произведение» (Бахтин, 2003: 80). Здесь важно, что текст Бахтина, включая главы, трактующие наружность героя, содержит ряд за-

мечаний, отсылающих к проблемам зеркального отражения, места зеркальности в человеческом сознании, оценки опыта смотрения в зеркало, не говоря о намеках, на основе которых можно предположить, что Бахтин закладывает основы современных нам теорий о нарциссическом нарративе. Это подтверждается и упоминанием имени Нарцисса. С нашей точки зрения, самое существенное его замечание смутно связано с его теорией о переживании отношения к Другому, во всяком случае, акт смотрения на себя в зеркало приобретает магические коннотации: «<...> когда я смотрю на себя в зеркало, я одержим чужой душой <...>» (Там же).

Итак, мы считаем целесообразным проследить предпосылки становления позиции Герцена в русле идей о сложном комплексе *писатель — автор — герой*, опираясь на разбор самых разнообразных дискурсов: от текстов Герцена и воспоминаний современников, через оценки русских мыслителей и критиков, вплоть до результатов, достигнутых в исследованиях историков литературы. Акцент ставится на изучении факторов, освещающих взаимоотношения личности, текстов и героев Герцена. Взаимодействия компонентов этого комплекса сложных факторов могут пролить свет на характерный для герценовского письма текстообразующий принцип, наблюдаемый в разнородных дискурсах. Наряду с этим закономерности построения герценовского текста можно уловить с учетом принципа, провозглашенного М. Элиаде (несмотря на то, что он выведен относительно закономерностей зодчества): «Человек строит по архетипу» (Элиаде, 2000: 29).

Тенденциозное утверждение собственной личности как уникального источника и предмета творчества, прозвучавшее в раннем кредо Герцена, сосредоточенность на различении отвергаемых им эгоизма и самолюбия, возникавшая еще в пору романтических мечтаний мысль о чаемом примирении индивидуального и коллективного, которая в итоге разрешилась постулированием первенства элитарности, жажда успеха — константы, важнейшие в текстах Герцена. С другой стороны, черты отшельничества, одиночества и сосредоточенности на себе, контрастирующие с негативным парадоксом празднования Другого и самопразднования, чередуются в портрете Герцена, созданном П. В. Анненковым. Анненков с дистанции смотрит на свои наблюдения: «возмущение» Герцена, вспоминая он, «горячий» тон его статей и правдивый характер отстранили от него других, он «остался один», так шумно хваля в статьях лекции своего друга Грановского, что «казалось, будто празднует свой собственный юбилей» (Анненков, 1983: 210). Более поздний «диагноз» Л. Н. Толстого (тон, выбранный русским классиком, напоминает рассуждения психиатра) сохранился в дневниковой записи от 4 августа 1860 г. Хотя сжатая фраза стимулирована чтением текстов, нет сомнений, что суждения Толстого о творческом методе Герцена-автора смешиваются с вос-

поминанием о впечатлениях от личной встречи с Герценом-писателем: «Риля читал и Герцена — разметающийся ум — большое самолюбие, но ширина, ловкость и доброта, изящество — русские» (Толстой, 1984: 229). Понятие *самолюбие*, пронизывающее, впрочем, герценовский текст и — согласно прочтению Толстого — являющее собой некий моментально ощутимый текстообразующий принцип, непосредственно связанный с личностью Герцена-писателя (заметим: то же понятие имеет чуть ли не первостепенную важность в этике Толстого), в основном принято классифицировать как наисущественнейшую приметку нарциссической личности.

Самолюбие Герцена и для него самого, в равной степени как и предмет его размышлений, — весьма сложное явление, которое одинаково можно объяснить и как продукт «духа эпохи», и как симптом недуга века. Культ индивида, расцвет индивидуализма, философствование о призванности индивида и его судьбе могут истолковываться как маски нарциссического самолюбия. Наряду с этим герценовский концепт толпы, выработывавшийся в ранний период творчества, в эмиграции перерос в отрицание *посредственности* под влиянием негативных впечатлений от современного статуса личности в Западной Европе. М. Н. Эпштейн, комментируя герценовскую фобию посредственности, показал Герцена в роли раннего предвестника заката Европы. Мы подчеркнем, что в визионерской картине будущности Европы, написанной Герценом, индивид и коллектив выступают как взаимозависимые величины. Посредственность, по мысли Герцена, чревата вырождением индивида, унификацией. Единообразие мира, утратившего творческий потенциал личности, влечет за собой крушение западной цивилизации, впадающей в отрешенность буддистского типа (Epstein, 2012: 10, 16).

Самолюбие — черта характера, которую Герцен, по всей вероятности, неизбежно и сознательно обнаруживал в собственной личности благодаря неустанному самоанализу и рефлексии. Несмотря на то что самолюбие неизбежно связано с культом индивида, у Герцена оно нередко вызывает сильные выпады и страстные размышления и отвергается как порок, деструктивная сила, тормозящая реализацию положительных поступков или целей. Данное явление трактуется в контексте противоречий Французской революции на страницах мемуаров и соотнесено с восприятием молодого поколения, без участия которого нет «общего» дела, в результате чего попытка обновления общества обречена на провал: «Болезненное и очень бесцеремонное самолюбие давно закусило удила» (Герцен, 1957а: 343). Подобным образом самолюбие бичуется как главная причина фиаско, которое потерпели петрашевцы. Однако при чтении вдруг возникает впечатление, будто речь идет отнюдь не о петрашевцах — мы имеем дело с теоретизированием Герцена о природе самолюбия: «Отсюда безмерное самолюбие; не то здоровое, *молодое самолюбие*, идущее *юноше, мечтающему о великой будущности*, идущее *мужу в полной силе и в полной деятельности*, не то, которое в былые

времена заставляло людей совершать чудеса отваги, выносить цепи и смерть из желаний славы, но, напротив, самолюбие болезненное, мешающее всякому делу огромностью притязаний, раздражительное, обидчивое, самонадеянное до дерзости и в то же время не уверенное в себе» (Герцен, 1956б: 344). Крайние, эмоционально окрашенные полюсы амбивалентности и страсти, панегирик самолюбию и проклятие ему же свидетельствуют: Герцен четко представлял данное психическое явление, придавая ему особое значение и, в частности, фиксируя его связь с молодостью — возрастом Нарцисса.

Далее стоит остановиться и на словах, воспроизводящих атмосферу юности Герцена, ибо «исповедальность» служит способом теоретического переосмысления феномена собственных нарциссических энергий, сублимированных в форме творческой деятельности. Не менее примечательно, что порок самолюбия, свойственный и его герою Бельтову из романа «Кто виноват?», в приведенном фрагменте представлен как взаимосвязанный с активной деятельностью, приносящей мужчине венец трудов. Ввиду отсутствия возможности полезных деяний самолюбие чревато разрушением, как это случилось в истории Бельтова; можно ощутить, что концепция Герцена прямо соприкасается с векторами судьбы «лишнего человека». Мысль об отказе от надежд на удачу революции, диктуемая эмпирикой парижских впечатлений, сопровождается стремлением Герцена углубляться в психический склад особого типа революционеров, встречаемых в парижских кафе. Их характер, как он констатирует, нередко осложняется отсутствием таланта, т. е. тех энергий, которые превращаются в творческую активность: набрасывая штрихи к психологическому портрету революционеров, Герцен отмечает, что в их среду «втекают непризнанные артисты, несчастные литераторы, студенты, не окончившие курса <...>, артисты без таланта, люди с большим самолюбием, но с малыми способностями» (Там же: 45). Словно перед нами портрет Бельтова, бесплодно пробуящего силы на поприщах науки, искусства, политики и любви. Интратекстуальные связи разных дискурсов, как очевидно, выступают в качестве автокомментариев, обуславливаемых типом (нарциссического) саморефлектирования. Недаром в психике революционеров выдвигается мотив самолюбия, компенсирующего отсутствие таланта и моменты неудач. Последние соответствуют переживанию статуса «обыденного либидо», играющего, пожалуй, кардинальную роль в возникновении (патологического) нарциссизма. Самолюбивый Герцен, невольно подчиняясь редко преодолеваемому психологическому механизму проекции, ставит в вину Эмме, жене Гервега, как раз самолюбие. В Ницце, перед окончательной разлукой с четой Гервегов — как это пересказывается в мемуарах, — Эмма называет жену Герцена «самолюбивой», а Герцен, в свою очередь, приписал это же качество Эмме, говоря, что в ней «самолюбие чуть не было <...> главной страстью» (Там же: 264–265).

Дебютировавший романом «Обыкновенная история» (1847) чуть ли не одновременно с появлением «Кто виноват?» (1846) И. А. Гончаров в статье «Милльон терзаний» (1872) тоже касается проблемы «любовь *versus* самолюбие и славолубие» как раз в рамках изложения своих взглядов на характер персонажей, отнесенных к типу «лишних людей». Главное, что Гончаров невольно теоретизирует именно над проблематичностью творческого метода, основанного на автобиографичности, обнаруживая сходство между судьбой автора и литературного героя, конкретнее, как ни странно, — предлагая аналогичность судьбы Герцена и Чацкого¹. Фигура Чацкого, который, по мнению Гончарова, образует тип «Чацких», систематично сравнивается с Онегиным и Печориным как тип литературного героя, обманутого своим чувством; в его характере первенствует «раздражение при различных мотивах». И Герцен, подобно своему герою, на которого Гончаров лаконично намекает лишь эпитетом «виноватый», взятым из названия романа, «страдал от “милльона терзаний”», поэтому стал жертвой «лихорадочных ожиданий», как и Белинский (Гончаров, 1980: 44). Личные травмы, постоянно выпадавшие на долю Герцена: статус внебрачного ребенка, «байструка», бедствия, постигающие его с момента ареста, ссылка в Вятку, Владимир, смерть детей, нездоровье жены и др., — определили формирование психического склада, соответствующего критериям травмированной личности, которой согласно Фрейдовой модели возникновения «вторичного» типа нарциссизма приписывается данная патология. Вереница событий кульминирует в свойственном нарциссу акте «нарциссической эскапады» — бегстве из России на Запад, где Герцена ожидало разочарование как результат впечатлений от парижских событий и горькое осознание отсутствия почвы для активного осуществления своих идеалов, не говоря о «семейной драме» со страшным исходом. Все эти события зеркально повторяют действия автобиографического героя, Бельтова, который, осознав свою «лишность», выбирает путь нарциссической эскапады.

Чаще всего вопрос об автобиографичности оказывается одним из наисущественнейших и неразрешимых и для автора, и для интерпретаторов романа. Поэтому целесообразнее всего в первую очередь привести высказывание самого Герцена. Оно отражает осознание автором уникальной и новаторской разновидности единства приемов биографизма и автобиографичности как органиче-

¹ Утверждение этой аналогии проливает свет на историко-литературную проблему возникновения типа «лишнего человека». Попытка Гончарова сблизить фигуры литературного героя Чацкого и писателя Герцена, заслуживающая особого внимания, позволяет предположить, что Гончаров, будучи осведомлен о знакомстве и разговорах Герцена с Чаадаевым, намекает на этот немаловажный факт. В своей книге В. Г. Щукин, уделив внимание проблеме «лишнего человека» и едва ли не впервые обратившись к вопросу психологической мотивированности данного образа, вслед за Тыняновым указал на личность Чаадаева как один из важнейших прототипов «лишнего человека». Потенциально деструктивная сторона психического комплекса нарцисса, идентифицированная в спецлитературе как источник агрессии (Фромм 1994: 175–178), затрагивается в вопросе, заданном Щукиным: «Мог ли “лишний человек” стать царевницей?» (Щукин 2001: 71).

ски связанных друг с другом принципов художественного метода изображения становления личности, как потом, в частности, отметил Н. И. Пруцков (Пруцков, 1962: 563). В пользу этой теории исследователь ссылается на принцип «отражения личности ее творца», который уловил уже Белинский в своей интерпретации повести «Записки одного молодого человека». Достигающий апофеоза принцип возвышается в комментариях Герцена по поводу жанра мемуаров «Былое и думы»: «Это мой настоящий genre, и Белинский угадал это в 1839 году» (Герцен, 1956а: 442). По поводу автобиографичности фигуры Бельтова мнения исследователей в значительной степени расходятся. Авторитет герценоведения Л. Я. Гинзбург, специально изучившая автобиографизмы у Герцена, в общем и целом признает преимущественную автобиографичность прозы писателя только со следующей, крайне парадоксальной и сомнительной с точки зрения психологической достоверности оговоркой: «В 40-х годах Герцен отходит от прямого автобиографизма», чтобы потом «вернуться» к нему в «Былом и думах» (Гинзбург, 1977: 242, 243). Из этого чуть ли не прямо следует, что написание романа соответствует фазе, когда автобиографичность у Герцена постепенно сходит на нет. В посмертно опубликованной работе Гинзбург, сдержанно отрицая автобиографичность персонажа, все-таки предлагает компромиссное решение вопроса, благодаря чему вносит ценный вклад в раскрытие специфики психики «лишнего человека»: «Бельтов, конечно же, не Герцен, вовсе не автобиографичен. Но в Бельтове объективированы некоторые черты авторского сознания, которое мыслится обобщенно как сознание поколения» (Там же: 26). Мнение Гинзбург вызывает скепсис: доминирует ли в оформлении фигуры Бельтова прием типизации, столь характерной для натуральной школы? Возможно ли это в случае Герцена, столь непреклонно и упрямо провозглашающего первенство индивида? На данный вопрос Ю. В. Манн отвечает отрицательно, выдвигая в качестве контрпримера «любовную коллизию романа» (Манн, 1969: 262). Различие в изображении «лишнего человека» у М. Ю. Лермонтова и Герцена Э. Чансиз относит на счет различия психологического склада авторов, что определено их биографиями, которыми предопределялось становление поэтики. Вопросы о конкретных автобиографизмах Чансиз вовсе не касается, говоря, что при характеристике персонажей Герцен полагается на разбор фактов биографии и факторов социальной среды, детерминирующих становление личности (Chances, 1978: 50). Путинцев настаивает на автобиографичности образа Бельтова в силу его «бесполезности «для общества»» (Путинцев, 1963: 81). Согласно его прочтению, факторы, сыгравшие роль в формировании центрального персонажа, продиктованы жизненными событиями, вследствие которых Герцен вынужден был понять, что его попытки улучшить общество оказались напрасными. Поэтому фигура Бельтова может рассматриваться как автопортрет его создателя, ибо — как Путинцев аргумен-

тирует, ссылаясь на высказывания Герцена, — «драма Герцена после поражения декабристов — в бессилии перед действительностью», поскольку его попытки, согласно собственной ретроспективной оценке, вошедшей в мемуары «Былое и думы», создавать «общества <...> не удавались» (Герцен, 1956а: 144); «по окончании университета Герцен, Огарев и их друзья мечтают о широкой деятельности <...>, но этим планам не суждено было осуществиться» (Путинцев, 1963: 20–21). Даже если позже ссылка как необыкновенная жизненная ситуация, несомненно, стимулировала такие идеи, едва ли кажется справедливым искать причины в разгроме движения декабристов. Насчет автобиографичности фигуры Бельтова Г. Н. Гай высказывается намного осторожнее: ее роль он склонен рассматривать в свете раннего автобиографического кредо Герцена, ставя акцент на пышущем энергией и манифестированном в этой герценовской формуле творческом потенциале, считая его «выражением стремления сильной творческой индивидуальности к самораскрытию, признаком лирического начала в художественном даровании <...>» (Гай, 1959: 22). С другой стороны, Гай сосредоточен на фигуре Бельтова, в котором, однако, склонен видеть исключительно воплощение социальных аспектов типа «лишнего человека». Согласно оценке исследователя, в отличие от других литературных героев, традиционно причисляемых к данному типу, Бельтову вместо слабости и пассивности присуща «жажда деятельности» (Там же: 77–78, 80). Конечно же, при создании образа Бельтова Герцен в результате систематического изучения возникновения данного круга литературных героев сознательно апеллировал и к разным прототипам «лишнего человека», как это явствует из его публицистических произведений «О развитии революционных идей в России» (1850) и «Very Dangerous!» (1859), не говоря о статье «Лишние люди и желчевики» (1860). Описание Герценом размышлений героя об императивах «деятельности» (Герцен, 1955: 105–106) — имеются в виду гражданский долг и служение пользе общества, категории импортированные и имеющие мало смысла в обществе, находящемся под патриархальным управлением царя, — дает повод Я. Е. Эльсбергу сформулировать свой взгляд на тип автобиографичности, который наблюдается в романе. Сходство между автором и героем обнаруживаются в аналогичности мысли Герцена и Бельтова, ибо «легко узнать в этих словах думы, тревожившие самого Герцена. Можно даже сказать, что Герцен здесь имеет в виду больше самого себя, чем Бельтова <...>», однако позиция Герцена исключает идентификацию с собственным героем по причинам «социального» разряда, так как Бельтов не «удовлетворяет» критерию «передового человека», идеала писателя (Эльсберг, 1948: 137).

«Selbstzentriertheit», одержимость собственным я, более выпукло манифестируется после того, как Герцен решается на жизнь эмигранта. Пережитые им стадии разочарования, успеха, воображения себя «лишним человеком» — согласно

коду ключевых сюжетных элементов мифологемы о Нарциссе — можно идентифицировать как симптомы первичного и вторичного нарциссизма.

Анненков уловил сдвиг, наблюдаемый после бегства из России в личном и публичном поведении Герцена. Он объяснял, что отдаление Герцена от Москвы и душевный кризис («он вышел из довольно сложного психического процесса и воспитался массой очень тонких нервных раздражений») стали компенсироваться «сложной торопливостью поставить себя в центре новой жизни» (иначе говоря — в центре внимания) и постепенно понуждали Герцена возвратиться на путь славы, непрерывного достижения успеха. Анненков приписывает это возрасту и жажде деятельности: «ему шел 35-й год», «когда человек испытывает обыкновенно мучительную потребность самой напряженной деятельности» (Анненков, 1983: 313). Нам данная характеристика важна в свете фактов, верифицирующих воздействие составляющих нарциссической личности на создание Герценом героев раннего типа «романтического мечтателя» и, с другой стороны, неустанную апелляцию к употреблению мотивики мифологемы о Нарциссе как подтекста романа «Кто виноват?». Согласно Анненкову, страдальческая недееспособность, беспомощность Герцена оправдываются в свете обстоятельств и пребывания в эмигрантской среде. В то же время в воспоминаниях Анненкова слышны отзвуки романа «Кто виноват?»: получается, что от своего героя Герцен не отделался, продолжая жить с ним в симбиозе даже после публикации произведения. В это время Герцен по-настоящему смотрит собственной «лишности» в лицо, приходя к полному пониманию обстоятельств, в которых он очутился: «простора для деятельности в той форме и в *тех размерах*, какие ему были нужны, он, конечно, найти не мог» (Там же: 313). Выделенное нами словосочетание также недвусмысленно передает, что Анненков видит мощь амбиций Герцена, чьи проекты в этот период задумывались как *грандиозные*, направленные на радикальную реформу обновления общественности и в России, и на Западе.

Претенциозность Герцена очевидна и в попытке инициировать «диалог», в конечном итоге — несостоявшийся, односторонний, с высшими кругами правления, с августейшими особами через публицистику, напечатанную в «Полярной звезде» и «Колоколе». Эта попытка оборачивалась своего рода вызовом на дуэль (в подражание Пушкину), на которую вызванный не пришел. Публицистика Герцена — аналогичный поступок в вербальном пространстве. Обращение к звуку бесполезному, слову безответному, немедленно вызывающим в памяти несбывшийся диалог между Нарциссом и нимфой Эхо, свидетельствует о тонкой наблюдательности критика: он переосмысливает «публичное поведение» писателя (встревожившее в свое время, кстати, и поклонников Пушкина) в свете психологических мотиваций. Анненковым названы в первую очередь факторы психологические, в том числе — позирование, декларация собственного всезнания,

«пустословие». Именно так выражается критик, анализируя увидевшую свет в 1850 г. брошюру «О развитии революционных идей в России», называя ее «пустословием», фальсификацией и искажением действительности. Стоит обратить внимание, что взор мемуариста сосредоточен прежде всего на психологии личности Герцена: перед ним открылась возможность привлечь внимание публики, он же стал «кокетничать перед Европой <...> неизвестною им землей, своей ролью в ней <...>, таинственными элементами», а на народ «публицист перенес воображаемые элементы революционерства, социализма, коммунизма», — заключает Анненков и сразу же подводит итоги, проливающие свет на эгоцентричность поведения Герцена: он всего лишь «раздувал <...> самого себя» (Там же: 530–531).

В размышлениях юного Герцена, его сомнениях, дилеммах, планах касательно литературного поприща отражаются сходные черты характера. Они, в частности, переданы в письме к Н. И. Сазонову и Н. Х. Кетчеру (вторая половина октября 1836 г.) и относятся к периоду ссылки и мистического ученичества под руководством А. Л. Витберга, личного знакомого Н. И. Новикова¹; в том же году появилось произведение «Записки А. Л. Витберга», авторство которого остается сомнительным; в нем нарратор рассказывает об участии в кружке А. Ф. Лабзина и о сущности царившей там масонской религиозности (Герцен, 1954в: 434). Лаконичные детали, иллюстрирующие фазы формирования мистического братства, артели «каменщиков», строителей храмов, преобразовавшейся впоследствии в элитарную организацию масонства, позже вошли в гл. XVI «Былого и дум», посвященную истории знакомства с Витбергом (Герцен, 1956а: 277–290). Литературные амбиции Герцена простираются до освоения универсализма, столь характерного для доктрины масонства, и намерения обновить эпический жанр² и одновременно — переосмыслить функцию литературы. В данном фрагменте текста ориентиры «здесь» и «там», «жизнь» и «литература», составляющие смысловые пары, являются ключевыми понятиями; интимный тон, намеки на великих предшественников и жанр торжественного послания к друзьям раскрывают мысль Герцена и психологические ее аспекты. Вдобавок, очерчивая замысел грандиозного произведения, Герцен обращается к моделям, воплощенным в произведениях Данте и Гете: «Можно ли в форме повести перемешать науку, карикатуру, философию, религию, жизнь реальную, мистицизм? Можно ли среди пошлых фигур des Alltagslebens поставить формулу алхимическую, среди страстей теллурических — простите выражение — показать путь *туда*? Как вы думаете? Пример хотя не нужен — но приведу — “Виль<гельма> Мейстера Lehrjahre и Wanderjahre“. Там даже технология. А чего нет у Данта?» (Герцен, 1961б: 112)

¹ О влиянии масонского мистицизма см. работы В. В. Зеньковского и М. Малии (Зеньковский 1991; Malia 1961).

² Уместно здесь напомнить о ценном вкладе Веселовского в изучение этого важного вопроса: «религиозный идеализм» периода ссылки, несомненно, способствовал «мирскому писательству Герцена» (Веселовский, 1909: 23).

(курсив Герцена). Юный Герцен таким образом мыслит собственную позицию автора как призвание великого алхимика, чья посвященность в таинства понимания и воссоздания великого синтеза равна великолепию бессмертных произведений Данте и Гете. Чувство избранничества, убежденность в осуществимости словесного новаторства, соизмеримого с вехами истории всемирной литературы, подтверждают уверенность Герцена в достижимости грандиозных перспектив, открытых ему по велению высших сил. Стоит напомнить об употреблении Герценом прилагательного «грандиозный» для описания сущности витберговского проекта храма Христа Спасителя, сделанного в афористичной форме: «Грандиозные вещи делаются грандиозными средствами» (Герцен, 1956а: 282). В соответствии с присвоением себе высшей роли Герцен и выбирает писательский псевдоним Искандер (тем самым претендуя на роль всемогущего романтического теурга, обладающего силой и магической способностью к преображению мира). За именем нетрудно обнаружить намерение заставлять читателя, разгадывающего истинную природу носителя имени, проникнуть в его историю: автор чуть ли не открыто идентифицирует себя с Александром Великим; претенциозность псевдонима в то же время сопровождается читательской ассоциацией с широко известным именованием Александра Македонского — «Покоритель мира». В итоге создается как бы двойной, даже тройной псевдоним, в конце концов вскрывающий истинную природу носителя. Одержимость «грандиозной самостью», как учит психология, — примета нарциссической психики. Ради целостности анализа мы обязаны учесть и многоговорящий факт, что Герцен в нарциссическом самоутверждении доходит до того, что в переписке с приятелями и соратниками в большинстве случаев подписывается этим же псевдонимом. Можно только догадываться, отражается ли в этом стремление отойти от фамилии, чтобы прикрыть собственное смутное происхождение. Так или иначе, принятие писательского псевдонима для Герцена обозначает, что он меняет личность. Этот момент наступает как второе крещение, попытка радикального разрыва с прошлым, подобно тому, как происходит с монахом в случае вступления в орден. Даже в личной переписке «старый Герцен» забыт, теперь существует только писатель, призванный к осуществлению великих деяний.

Сосредоточенность на себе как на идеальном инструменте, своего рода максимально точно воспринимающем приборе, в случае Герцена заметил и Ю. И. Айхенвальд, указавший на соотнесенность герценовского самосозерцания с порождением словесного произведения. Взгляды на преобладающую роль *зеркальности* в творческой мысли Герцена критик не зря формулирует во вступлении к эссе о Герцене: ощупывая самоцентричность психики Герцена, Айхенвальд обращается к нему как «деятелю и созерцателю»; затем данным категориям придается чуть ли не онтологический статус: «он не только *был*, но и созерцал» (курсив Айхен-

вальда). Созерцание в этом смысле рассматривается как ключ к пониманию феномена Герцена. Персонализм, составляющий магистраль его философских воззрений, неотъемлем от собственной его персоны: «актер и зритель, лицедей своего лица» (здесь одновременно слышен гностический аккорд мысли о тождестве познающего и познаваемого), Герцен, который «углубленно жил и в мире внутреннем» (в фокусе опять нарциссический уход в сферу собственного я), «всегда держал перед ними [событиями] *зеркало своего духа, видел и слушал самого себя*, это опасно граничило с позой <...>» (Айхенвальд, 1998: 208). Сходным образом суммирует свои взгляды на уникальность личности Герцена и кн. Д. П. Святополк-Мирский: «<...> он один из немногих русских писателей, которые явной позы не боятся» (Святополк-Мирский, 2005: 374).

Крайнему индивидуализму закономерно сопутствует ощущение избранности. Последнее налицо в психологической обрисовке литературного героя, появившегося уже у Лермонтова. Присутствие персонажа, ощущающего себя избранником в результате трансформации «возвышенных пороков» в нечто героическое, согласно Гинзбург, кроме Лермонтова, можно наблюдать «даже у Герцена периода его юношеских автобиографических набросков, и его переписки с невестой, переписки с ее демоническими мотивами» (Гинзбург, 1977: 118). Чувство избранности и жесты волюнтаристского решения чьей-то судьбы подчеркнуты и В. К. Кантором, осмысливавшим философское наследие Герцена. В поисках психологической мотивировки эволюционирования герценовской мысли Кантор ссылается на факт признания Герценом собственной «избалованности», который сохранен в записи в *Дневнике* писателя (Герцен, 1960б: 609). В дальнейшем, учитывая дальнее родство отца Герцена с династией Романовых, Кантор с психологической достоверностью указывает на претенциозность псевдонима Искандер. Затем, подчеркивая среди обстоятельств жизни писателя избыток материальных средств, Кантор резюмирует: «это не могло не давать Герцену представления о *значимости собственной персоны*», и затрагивает психологическую мотивированность выбора писательского псевдонима: «Свое царское достоинство он обозначил псевдонимом — *Искандер*, т. е. *Александр Македонский*» (Кантор, 2011: 34–35).

Нарциссическая переоценка собственного я уловима и в Бельтове из романа «Кто виноват?». Во-первых, выбирая имя Владимир для героя, Герцен не мог не учесть явной переклички с именем князя киевского, давшего народу новую веру и новую государственность. В портрете Бельтова как кривого отражения образа автора (и его грандиозных проектов) полунасмешливо дремлет потенциал образа великого человека, залога великих преображений общества. Неслучайно Жозеф, безусловно добросовестно проштудировавший историю России, «перекрещивая» своего питомца, обращается к нему *Вольдемар*. Здесь скрывается туманный игривый намек на скандинавское происхождение имени, и тем самым —

на норманнскую теорию. Можно воспользоваться оборотом Кантора: «царский автор — царский герой» и прибавить: царское имя.

Современник, критик не мог обойти молчанием культ индивида, ощущаемый в романе. В рамках широкого и скрупулезного обзора восприятия произведения современниками Г. Г. Елизаветина останавливается на разборе интерпретации С. П. Шевырева, сосредоточившегося на гипертрофии личности («излишне развитой») самого писателя (Елизаветина, 1979: 62): Шевырев отмечает и его «лишность». Этот факт, обусловленный обстоятельствами жизни, Герцен окончательно осознал в эмиграции. Эмпирика, подающая автору импульсы для постоянных размышлений, легла в основу системной разработки концепта «лишнего человека», ставшего своего рода «философемой» и даже концепцией, изложенной в публицистическом произведении «О развитии революционных идей в России», как мы помним, квалифицированной Анненковым как пустословие. В романе Герцена экстренное проявление «индивидуализма» (осмелимся уточнить выражение Шевырева — эгоцентризма) наводит критика на мысль об идолопоклонстве личности перед собой. Ибо, по выражению Шевырева, современная личность «из себя самой хочет <...> почерпнуть всю жизнь, все содержание, все воззрение на мир, даже самый язык <...>» (цит. по: Елизаветина, 1979: 62). Важно подчеркнуть, что тот психологический портрет Герцена-писателя, собственно — мегаломана, который обрисован в трактовке Кантора, в высшей степени перекликается с ощущением современника, проводившего параллелизм между Герценом-автором и его героем Бельтовым. Примечателен и факт, что Шевырев в круг своих размышлений о перерастающем все пределы индивидуализме вовлекает также проблему *языка*, на которой, как известно, сконцентрирована античная мифологема Нарцисса: ввиду отсутствия адекватного средства общения единящий принцип Эроса бессилён, диалог между нимфой Эхо и древнегреческим юношей обречен на фиаско, как и в случае Бельтова и Круциферской на берегу реки в кульминационном пункте произведения. Этот ключевой «диалог», кстати, также оборачивается «пустословием», как сама Круциферская это констатирует: «Ах, Бельтов, Бельтов, зачем все это, зачем этот разговор?» (Герцен, 1955: 174) (более подробную интерпретацию данной сцены см.: Йожа, 2018б: 73–76). Принцип диалогизма, переоткрытый Бахтиным (первые проявления этого принципа наблюдаются у Достоевского, затем у Вяч. Иванова, но сама антропологическая сущность диалога, пожалуй, открыта Платоном), эксплицитно нарушается в разговоре Любоньки и Владимира Бельтова, а в свете отзыва Шевырева о романе эгоцентрическая замкнутость языка Герцена, порожденная своеволием автора-себялюбца, так же положит конец диалогу между читателем и автором, читателем и произведением. При отсутствии живого контакта между текстом и читателем, возникающем из-за языка произведения, текст перестает быть но-

сителем квинтэссенциального критерия литературного произведения, теряет потенциал вызвать сострадание или страх. А если — как постулируется в «Поэтике» Аристотеля — данных качеств не хватает, то у литературного произведения нет возможности дать читателю катарсическое очищение.

Неудивительно в свете вышесказанного, что Айхенвальд, при анализе творчества Герцена сконцентрировавшийся на образе *зеркала*, переходит к трактовке весомости *индивидуально порождающегося языка*, прибегая к минералогической метафоре и символике влаги, обладающей первостепенной функцией в истории Нарцисса: «В Герцене было много самоцветных слов, которые лились потоком...» (Айхенвальд, 1998: II, 209).

Необходимо уточнить понятие нарциссизма в случае Герцена: как присущее в равной степени и писателю, и автору, и его героям явление, нарциссизм определяет и публицистический, и философский дискурсы Герцена, становясь также важным источником формулировки гносеологической модели, предметом размышлений и саморефлексии, способом самопознания, методом понимания личности, ее призвания и места во Вселенной.

Рискнем отметить, что культ живой энергии личности как источника сознания своего назначения на свете — путь к познанию высших миров, ведь в случае Герцена этот культ вырастает на почве идей и форм, усвоенных им в период романтических исканий. И. И. Евлампиев, вопреки традиционной трактовке идей Герцена, рассматривает их в рамках истории русской метафизики. Исходной точкой Евлампиев также выбирает период освоения Герценом гегельянства. Однако ученый предлагает переакцентировку, подчеркивая вертикаль мысли Герцена, который мыслил потенциальный рост отдельной личности «в рамках объемлющей его духовно-мистической цельности». Главным ориентиром здесь неизменно выступает принцип соотнесения человека с Богом, однако «в отличие от линии, маркируемой, в первую очередь, именем Вл. Соловьева, у Герцена акцент ставится на творческой активности и свободе отдельной личности» (Евлампиев, 2000: 71). Получается, что возможность заимствования Герценом плоского гегельянского рационализма отпадает, поскольку в его концепции индивидуальная свобода (которая, как Евлампиев обращает внимание, для славянофилов воплощала зло) мыслится как проявление «метафизического Абсолюта» (Там же: 90).

Не претендуя на исчерпывающий обзор современной спецлитературы, посвященной феномену нарциссизма, необходимо отметить, что его вовсе не принято относить к психопатологии. Наоборот, согласно теории Грюнбергера, нарциссизм присутствует в пренатальной жизни (Grunberger, 1979), а как известно, уже Фрейд, сделавший первый серьезный шаг к истолкованию этого психического феномена, подвергал собственную первоначальную позицию радикальному пересмотру и в итоге уточнил ее, разделив «первичный» и «вторичный» нарциссизм.

Последний мыслится как реактивный способ человеческой психики, действующий как самозащита от травм. Культуролог-психоаналитик наряду с практикующим психоаналитиком склонны видеть в нарциссизме первоисточник творческой и интеллектуальной деятельности высокого качества (Lacan, 2006; Kohut, 1977), тогда как современные психологи соотносят его с симптомами отчужденности, самосредоточенности, интровертности, холодной требовательности, свойственными нынешним поколениям, нередко с социологическими обертонами.

Тщеславие и, главным образом, избранничество как сублимированный эквивалент нарциссической самонадеянности (одержимости грандиозной, архаической самостью) достигает кульминации в проекте Герцена увековечить собственную биографию в многотомном издании мемуаров «Былое и думы», которое — с учетом намерения автора стать великим летописцем своего века — может считаться нескромной попыткой обнародовать собственную личную жизнь. Нет сомнений, это чувство в Герцене подпитывалось переживанием конкретных жизненных ситуаций, а с другой стороны — событий духовной жизни автора: социальным его статусом внебрачного происхождения, положением ссыльного, идентифицировавшего себя с великими изгнанниками, Овидием¹ (двойной аспект овидиевской темы у Герцена присутствует как код, определяющий духовную вертикаль «Метаморфоз», и как вечная модель непримиримого столкновения светской власти и писателя²) и Данте, и с мучениками *непорочной* жизни из сборника «Четы-Минеи». Свою роль сыграла и встреча с Витбергом, жерт-

¹ Изгнаннический миф как один из центральных векторов становления русской поэзии начиная с XIX в. исследован в монографии К. Ичин, посвященной воздействию Овидия на русскую поэзию от Пушкина до Бродского. Ичин впервые затронула широкий вопрос об Овидиевом тексте, ограничившись в предисловии анализом общих положений рецепции Овидия в русской культуре и литературе (Ичин, 2007).

² Вслед за увлечением Пушкина римским поэтом Овидий, среди других, был канонизирован как эмблематичная фигура словесности, «как один из законодателей парнасских, великих поэтов, иностранных и российских» (Белинский, 1955: 359). Имя Овидия не раз появляется в сочинениях Герцена, у которого образ римского поэта ассоциируется с фигурой Пушкина, «нового Овидия», высланного Александром «к южным границам империи» — как в брошюре «О развитии революционных идей в России» (1858), где образ соседствует со словосочетанием «грязная река» России (ср. «омут»). Имя римского поэта связано и с историей русского масонства, по крайней мере, по двум причинам: во-первых, «Метаморфозы» издавна входят в список «масонской» литературы, во-вторых, кишиневская ложа, как предполагают исследователи, приняла название «Овидий» по инициативе Пушкина во время его ссылки. Книга «Метаморфозы» спустя много лет трансформируется в сознании Герцена в предвестие общественно-политического переворота: в автографе статьи «Порядок торжествует!» (1866), посвященной разложению старого режима и революции, Герцен обращается к названию книги в связи с правительственными реформами: «к (овидиевскому) (новому) какому-то превращению» (Герцен, 1960а: 192, 351). В статье «Княгиня Екатерина Романовна Дашкова» (1857) наличествует комплекс разнообразных мотивов, соотносимых с феноменом Овидия, чей образ выступает как неразрывно связанный с языком: цитата «легкий язык Овидия», приводимая Герценом из речи княгини, соотнесена с темой «богатства и изобилия» русского языка (Герцен, 1957б: 402). Если даже имя Нарцисса здесь явно надделено другой семантикой — оно же упоминается как имя любимца Петра III, арапа (Там же: 383–384), анекдот о котором сохранился в сочинении Пушкина, — все-таки двукратное повторение мотивов, связанных с Овидием, неслучайно. Это подтверждается и тем, что в варианте текста последней повести «Доктор, умирающий и мертвые» этот же любимец русского царя опять-таки связывается со способностью/неспособностью говора/языка: «сам он наверное не знал бы, что сказать» (Герцен, 1960б: 703).

вой преследований, представителем таинственного братства масонов, ориентированного на достижение идеального, осуществляемого индивидуальным путем самоусовершенствования.

Ссылка, давшая уникальные импульсы, согласно собственному признанию Герцена, соответствует «годам ученичества», т. е. неутолимому поискам и созреванию идейной позиции. Не лишним будет указать на аналогичные явления в судьбе Н. П. Огарева, с которым Герцен сосуществовал. Записи Огарева, вошедшие в автобиографический очерк «Кавказские воды», хранят впечатления от встреч с бывшими участниками декабристского движения во время посещения Пятигорска. Чрезвычайно любопытно, что данная группа деятелей у Огарева лаконично упоминается как «тайное общество 1825 года», без намека на политические цели. Эти события и встречи переживаются мемуаристом как соприкосновение с сакральным. Огарев оказывается под сильным воздействием ореола вокруг А. И. Одоевского: в фокусе — пережитое им, но мысль о полной гармонии наружности и излучаемой силы гения пронизывает описание светлой личности Одоевского, как бы воплощающей чаемый идеал преодоления дуализма человеческой породы — в этом месте налицо существенная перекличка с темами Герцена. Ибо почти тождественный по словесному оформлению фрагмент имеется в сочинении «Записки А. Л. Витберга», который Герцен якобы писал под диктовку. В нем подобно обрисован портрет Лабзина, в котором показано совершенство согласованности физического и метафизического в бывшем масоне, преодолевшем дуализм бытия: «Говоря о Лабзине, скажем и о его наружности, которая *так тесно связана с внутренней жизнью*. Вид его был важен; держал голову более вверх; очки, большой нос и что-то презрительное в губах; самая походка его придавала ему что-то важное и гордое» (Герцен, 1954в: 435). Причастность к этому кругу порождает ощущение элитарности у Огарева в период его собственного ученичества, руководимого не кем иным, как психопомпом Одоевским, продолжателем дела Новикова (см.: Огарев, 1952: 396–413). Воздействие его несомненно способствовало росту убежденности в собственной избранности. Если сопоставить эту историю с культовой атмосферой, возникшей после легендарного события на Воробьевых горах, навсегда связавшего Герцена и Огарева, знакомство с Одоевским и его окружением как бы повторяет, зеркально отражает пережитое Герценом в отношении к Витбергу.

Осмысление клятвы на Воробьевых горах для Герцена и Огарева дало толчок процессу как мифологизирования этого события, так и самомифологизирования. Обе тенденции вписываются в романтические «жизнетворчество» и «мифотворчество», по необходимости сливающиеся. Существует несколько версий этой истории, относящихся к разным периодам творчества Герцена. Одна из них содержится во фрагменте автобиографической повести «О себе», не вошедшей

в академическое собрание сочинений в 30-и томах, а напечатанной отдельно¹. Фрагмент изобилует лексикой, передающей переживание экстатического слияния со сферой сакрального. Момент просветления приходит как торжественный финал некоего ритуала, приводя к осознанию собственной посвященности и закрепляя веру в собственные избранничество и миссию: «Какая откровенность! Какое бескорыстие во всех мечтах! Благословляю их. Долго мы не могли насмотреться друг на друга. Казалось, бытие наше просветилось». Преодоление корысти, эгоизма переживается как единение со Вселенной, эмпирика трансформируется в высшее понимание *бытия* как чуда на земле, но в то же время за миг появляется мысль о духовном перерождении, о возникшем новом индивидуе, призванном к великому делу пророчества. Осознание в себе высшего я, собственного избранничества сопровождается ощущением призванности, приводящим к сакрализации переживания, к взгляду на себя как «апостолов», избранных на великие страдания.

Идеализация, поэтизация последовавших трагических жизненных событий, о которых уже говорилось, перешла в мифологизацию случившегося и привела к появлению личного мифа. Не будет преувеличением сказать, что сам Герцен это отлично понимал, поскольку сам признавался, что его писательский метод состоит в трансформации своей биографии в *иероглифы*. Ассоциативный круг, семантическая аура слова наводит на мысль о явлении грандиозных размеров, соизмеримых с египетской архитектурой. (Витберг склонен был если даже не к самомифологизированию, то, по крайней мере, к такому восприятию бытия, которое симультанно мыслится в планах земного и символического-трансцендентного. К примеру, как известно, выбрав профессию зодчего и стремясь к одухотворению своих занятий, он присоединился к вольным каменщикам. Герцена-адепта Витберг ознакомил с историей зодчества в масонском духе еще в годы вятской ссылки.) Мотив иероглифов немедленно вызывает в памяти и грандиозные фигуры фараонов. Ведь продукт увековечивания эмпирики, согласно принципу поэтики Герцена этого периода, уподобляется им самим тайнописи древних пирамид, воздвигнутых в честь прошедших путь обожествления фараонов. Ощущение низких будней компенсируется нарциссической эскападой, оберегающей от инерции, бездействия, бессилия, сопровождаемой тем особым типом романтического «жизнетворчества» (Гинзбург, 1997: 10), который стимулирует ряд мифов и культов (имеется в виду уникальная атмосфера дружеских, мистико-идиллических встреч Огаревых и Герценов²), порождающих акты и тексты самомифологизирования.

¹ Литературное наследство. Т. 63: Герцен и Огарев. Кн. III / АН СССР. М.: Изд-во АН СССР, 1956.

² В работе, посвященной истории «союза четырех», В. Фреде, восстанавливая нарратив и идейный фон этих отношений, указывает на практику разглядывания портретов, если угодно — зеркальных отражений друг друга. «Сама дружба превращается в акт религиозного поклонения. Герцен и Захарьина говорят, что “поклоняются” друг другу, и созерцают портреты друг друга, точно иконы» (Фреде, 2001: 165).

Мотивы письма как самоотражения и буквального трансформирования собственного я в образ апостола перекликаются с ключевыми элементами мифологии о Нарциссе, с лексемой эхо, образом зеркала и понятием самолюбия. Они в качестве инвариантов органически интегрированы и в философский, и в беллетристический дискурс Герцена. Матрицу инвариантов необходимо изучать в свете нарциссически-амбивалентных реакций Герцена на собственное положение. Как видно из нашего анализа, акт письма, творение текста, автобиографичность последнего в доэмиграционный период в основном сконцентрированы на самовыражении и самопознании. На чужбине все это резко переворачивается: вместо манифестированной самососредоточенности Герцен бросается в другую крайность: он приступает к делу масштабного коллектива — то ли европейского человечества, то ли общества России. Те же мотивы превращаются в способ утверждения я, собственных нарциссических призванности и самоутверждения. (Здесь, добавим, очевидны амбивалентность и отказ от противостоящих друг другу систем ценностей, репрезентируемых Россией и Западом. До эмиграции симпатии Герцена направлены на Запад, а там вскоре после кризиса он погружается в дела России.) События, в которых господствуют переживания личного характера, расширяются в восприятии Герцена до колоссальных масштабов: на свою деятельность он смотрит как на спасение России.

Нижеследующая цитата свидетельствует об углублении Герцена в многослойную символику зеркала, которая концептуально интегрирована в контекст, содержащий мысли о границах познания. Если человеческий ум по причине субъективности в итоге препятствует объективности познания, то зеркальный образ в принципе принадлежит к сфере идеальных, наиболее точных представлений о мире, представляется как своего рода совершенный инструмент, гарантирующий неискаженное, некривое отражение действительности. Субъективность вытекает из собственного, индивидуального, неповторимого опыта индивида: нельзя представить, утверждает Герцен, человеческий ум «страдательным приемником, особого рода зеркалом, которое отражало бы данное, не изменяя его, т. е. во всей его случайности, не усваивая, тупо, бессмысленно <...>» (Герцен, 1954д: 105). Несомненно, здесь появляется и ключевое понятие гносеологического процесса, сопровождаемого непрерывным рефлексированием, необходимым для преодоления субъективности в ходе познавательного процесса. По словам одного из комментаторов, убежденность Герцена в миссии «психиатрии» в процессе познания обусловлена идеей активной и плодотворной роли индивида. Благодаря этому достигается идеальная разумность: «Герцен указывает на активный характер процесса познания. По своему существу этот процесс всегда есть не что иное, как “разумная деятельность”» (Соколов-Теплов, 1962: 10). В результате познаваемая действительность и ее образ есть сумма индивидуально обре-

таемых отражений, которые постигаются эмпирическим путем; их совокупность соответствует идеальному зеркальному образу Вселенной. Как заключают исследователи, по Герцену, познание — не чаемый результат, а непрерывный процесс, причем оно окрашено переживанием особого рода: «Познание — это искание истины», и в глазах Герцена познание истины есть «драма» (Там же). Отсылка к древнему литературному роду и жанру означает, что познающий в идеальном случае переживает катарсическое очищение, т. е. своего рода метаморфозу, схему которой можно передать словами семантического ряда *созерцание — самосозерцание — познание*, создающими универсалию; эти элементы закодированы в мифологической истории о Нарциссе. Познание в его случае равняется катастрофе, чреватой трагическим исходом. Нарциссу не было суждено познать себя. Но момент саморазглядывания в зеркальной глади ручейка синонимичен акту перерождения. Мы позволим себе добавить, что «наказание» юноши за непослушание, за нарушение закона богини любви, за индивидуалистическое противостояние, в итоге — за бунт против порядка, не так уж строго, ведь богиня любви не может не проявить милосердия уже в силу того, что несчастный смертный в конце концов осознает, что любовь сильнее всего: он по милости Афродиты обретает вечную жизнь, превращаясь в цветок, навсегда сохраняющий живое свидетельство о его истории. Недаром акт познания обусловлен актом самопознания, постижения субъективности себя как индивида.

В мемуарах Н. А. Тучковой-Огаревой содержится свидетельство, что у Герцена, многократно апеллировавшего в сочинениях к зеркальным образу и символике, как бы развился некий страх зеркала. В нынешней психопатологии это явление называется термином Ш. Ференци «эйсоптрофобия». Во время внезапной болезни, одолевшей писателя, зеркало стало объектом испуга: все более ослабевающий больной стал путать его с окном¹. Симптомы эйсоптрофобии проявились у Герцена во время агонии.

Другой важный мотив мифологемы, имя нимфы, слово *эхо*, со временем превратившееся в нарицательное и используемое с все умножающимися всевозможными коннотациями в разнообразных дискурсах XIX в., относительно часто встречается в текстах Герцена. Пример тому — перевод Герценом «Рассказов о временах меровингских» О. Тьерри, содержащий важную тему смены исто-

¹ Страдавший диабетом Герцен внезапно, после того как его посетил И. С. Тургенев, занемог с симптомами воспаления легких и стал бредить во сне и даже в полубодром состоянии, что было следствием общего ослабления организма. Тучкова-Огарева подробно описывает его болезнь и последние дни в гл. XVII мемуаров. Фатальный диагноз был установлен после консилиума. В последний день Герцену после беспокойно проведенной ночи стало тревожно и как будто лучше, он чувствовал страшный голод, но после еды впал в бредовый сон: «Сон был тревожен и мало-помалу перешел в бред с открытыми глазами, — пишет мемуаристка. — За его кроватью висело зеркало, в которое виднелось окно. Это зеркало мало-помалу стало занимать его и, наконец, беспокоить». Герцен, как сообщается, был встревожен мыслью, что «здесь все на виду», и несмотря на объяснения, «по-видимому, он уже понимал не ясно», близкие были вынуждены «завесить» «зеркало черной шалью» (Тучкова-Огарева, 1956: 218).

рических эпох. Слово *эхо* в словаре автора текста, в частности, используется для создания образа хранителя памяти о трагических событиях — лица, голоса, рассказчика, вестника. Герцен, без сомнения, вполне осознавал значимость семантических слоев данной лексемы. «Григорий Турский — человек прошедшего, но прошедшего лучшего, нежели тягостное настоящее, верное эхо скорбных звуков, исторгавшихся у благородных сердец при виде гибнущей цивилизации!» (Герцен, 1954г: 11). Звуковое оформление мотива горькой жалобы на утрату идеального не только вторит теме мировой скорби, ставшей основной парадигмой романтического миропонимания. Слово *эхо*, актуализирующее имя нимфы и выступающее в значениях «книга» и «летописец», в данном контексте также представляет собой случай семантического окказионализма. Сюда же вовлекаются мысль об акте письма и связанный с ней комплекс идей о продукте процесса как отзвуке чего-либо. Отнюдь не парадоксально, что сюжет о Нарциссе есть закрепление механизма порождения знака в форме звуков и слов. Ведь не только Нарцисс, но и нимфа Эхо, следуя логике мифологемы, неизбежно связаны с понятием эстетики: цветок — древний символ поэзии; артефакт-текст и герой у Овидия в некотором смысле тождественны. С другой стороны, нимфа Эхо обречена не только на роль жертвы; она тоже не умирает, от нее же остается голос, она есть вечный отзвук, свидетельствующий о случившемся.

В «Былом и думах» слово *эхо* уже сигнализирует о некоем зловещем надвигающемся историческом событии. Хотя слово-образ наделяется противоположной семантикой, его связь со значениями «сказитель» и «оракул» не утрачивается. В главке «Приметы», само название которой отсылает к предвидению, дается краткий отчет о происшедшем перед отъездом Герцена из Парижа в зале амбаркадера, о драке двух пьяных стариков: голова одного из них «с каким-то дребезжащим, пронзительным звуком, щелкнулась о каменный пол». «Страшное эхо» этого «костяного звука», — приводит свои впечатления Герцен, ставя знак равенства между образом эхо, носителем отзвука прошедшего и мыслью о некоей невидимой еще катастрофе, — «произвело что-то историческое» (Герцен, 1956б: 230). Нетрудно видеть, что благодаря телеграфному стилю, крайнему лаконизму рассказа о событии слово *эхо* снова употребляется как знак понимания момента: мелкая деталь присутствует в целостном представлении о грядущем, она в одинаковой степени соотносится с рассказом о происшедшем и предсказанием будущего. Образ *эха* связан с образом зеркальной глади воды, издревле связанной с гаданием. Этот мотив спрятан в наиважнейших узлах античного мифа о Нарциссе, в завязке и концовке: прорицание гадалки, предрекающей судьбу Нарцисса, сбывается в тот самый момент, когда отрок зрит собственный лик в зеркале ручейка. Магический способ предвидения трансформируется в способ исполнения судьбы, имеющей фатальный финал.

В публицистической заметке 1860 г. «Победа, одержанная храбрым генералом Мухановым, что на Висле», написанной для журнала «Колокол», образ *эха* мелькает в политическом контексте, ограничивающемся комментированием польского вопроса. Эхо, насколько можно судить, соотнесено с Зимним дворцом. Хотя метафоричность оборота налицо, Герцен вдобавок бегло и иронически, как бы мимоходом, спонтанно роняет слово *эхо*, и в то же время очевидно, что для него мифологема о Нарциссе уже давным-давно интегрирована в мышление как ориентир, способ интерпретации, своего рода поучительная волшебная сказка, при помощи которой можно расшифровать конкретные ситуации, факты действительности. Ибо в данном кусочке текста непосредственно названа «*нимфа Эхо*», причем словосочетание выделяет курсивом сам автор (Герцен, 1958: 290). Здесь мифологема, по всей вероятности, знакомая Герцену по «Метаморфозам» Овидия, представляется ему как «вечная схема», способ видеть невидимое.

Мы наталкиваемся на попытку системно переосмыслить комплекс мотивов античной мифологемы о Нарциссе в раннем автобиографическом наброске под названием «Не долго продолжалось его одиночество...» (ок. 1830). В тексте ни слово *эхо*, ни имя Нарцисса не встречаются. Однако бросается в глаза взаимосвязь мотивов созерцания и женского начала в контексте символики зеркала и стоячей воды. Сюжет основан на повествовании о путешествии в прошлое, о посещении двумя молодыми людьми блиставшей пышностью при Екатерине Великой дачи, ныне заброшенной и одиноко стоящей в нескольких верстах от Москвы. Локус богато очерчен в красноречивых обертонх ностальгического поклонения перед «грандиозно» минувшим. Тщательный разбор словесного оформления фрагмента позволяет предполагать, что уже на раннем этапе творчества Герцен экспериментировал с переработкой изучаемого нами круга мотивов. Центральный образ *пруда*, необходимой части ландшафта дворянской усадьбы, безоговорочно отождествляется с образом *зеркала*: так установлена его архетипическая сущность. Вдобавок он соотнесен с женским началом: «пруд чистый, ясный, служивший некогда *зеркалом* прелестным барышням того века» (Герцен, 1954б: 318). Локус пруда как бы обозначает финальный пункт действия, цель визита. Затем эпическое повествование обрывается, чтобы превратиться в философствование, рефлексию, поток мыслей нарратора. Причем пруд обеспечивает место для отдыха двоих («сели на лавку возле пруда»), а позже такая же сцена, пропитанная атмосферой кажущейся идиллии, появляется в романе «Кто виноват?» как фон любовной встречи Круциферской и Бельтова.

В тексте мотив разговора симультанен локусу пруда. Получается, что влага и поток речи — как в мифологеме о Нарциссе — переплетаются: друзья приближаются к пруду «в жарком разговоре». Нарратор повтором одного и того же слова и интенсивностью, приданной модификацией эпитета, подчеркивает: «Все

располагало их к разговору сильному <...>» (Там же). Вместе с тем диалог друзей автором не приводится, читателю остается вообразить, о чем они разговаривали. Вместо этого внезапно звучит монолог или, скорее, внутренний монолог одного из действующих лиц.

Описание сцены завершается скудно очерченным портретом одного из молодых людей: он назван «поэтом» и в сильно взволнованном состоянии «рисует на земле тонкую тросточкою» (Там же). Символичность этого акта раскрывается посредством замечания Элиаде: в связи с анализом целительных обрядов, подчиненных представлению о врачевании как воссозданию жизни, включающем ритуал «произнесения космогонического мифа», он обращает внимание на визуальный элемент обряда, ведущего к перерождению: «Обряд включает также рисование сложных узоров в песке (sand paintings), символизирующих различные этапы Сотворения и мифической истории богов, предков и человечества». Важно еще, что историк и теоретик религий не ограничивает значимость данного акта исцелением, это подтверждено словом «инициация» (Элиаде 2000: 75–76). Знаковая система говорения заменяется знаком визуального типа, чтобы отсутствующий в тексте диалог сменялся своего рода *внутренним* монологом: в следующем пассаже излагаются мысли то ли нарратора, то ли героя-поэта. Образ стоячей, прозрачной зеркальной воды переходит в эмоциональный, безостановочно льющийся поток речи, как бы генерируемой присутствием влаги: по содержанию мысль о творении идеалов, естественном влечении к изящному, «рассеянному в природе и в душе» человека, оценивается как характерная для молодого возраста черта. Причина исключения из этого правила освещается при помощи трансформирования образа кристально чистого пруда в грязное озеро, маркирующее сферу посредственности, заурядности. Ибо, как объясняет Герцен, отсутствие склонности к фантазированию характерно для тех, «кои не имели юности, у которых ум убил все чувствования, которые с ранних лет упали в грязное смердящее озеро, называющееся толпою» (Герцен, 1954б: 318). Образ толпы и многократно затронутая нами тема избранничества, предстающие одним из нарциссических проявлений в личности и творчестве Герцена, связаны с образом стоячей воды. Развертывая символический смысл своих слов, Герцен, декларируя господство иррационального, выстраивает ряд бинарных оппозиций в духе романтического дуализма: высший идеал индивида контрастирует с толпой, чистый (искусственный) пруд — со смердящим грязным озером, иррациональное — с умом, убивающим эмоции. Образ воды подвергается превращению; представленный уже в форме «замершей влаги», он противопоставлен жизни, перерастая в образ толпы, т. е. «ледяных людей». Эстетизм первенствует над сферой будней.

Напрашивается вывод: проект автора обессмертить свои поступки и личность, т. е. почерпнуть материал для повести из собственной биографии, выполняется

при интенсивном использовании ряда мотивов, составляющих магистраль сюжета древней мифологемы.

Отречение от эгоизма ради провозглашения примата коллектива и осознание того, что вне диалога индивид обречен на гибель, позже выступают как героическая попытка преодоления дуализма, унаследованного от романтизма. За пять лет до начала работы над романом «Кто виноват?» Герцен уже, по-видимому, уточнял собственные представления о писательстве, что свидетельствует о его тяготении к решению проблемы автобиографичности. Формулировка данного вопроса, как мы увидим, связана с чисто теоретическими размышлениями писателя. По сравнению с автобиографическим наброском, рассмотренным выше, повесть «Первая встреча» (1836), вошедшая в цикл «Встречи», достойна особого внимания как поворотный пункт в процессе эволюционирования оценки Герценом автобиографического принципа. В данном произведении ощущим сдвиг: принцип автобиографичности ставится под вопрос, она отвергается в пользу общечеловеческих интересов. Сюжетной рамкой философских диалогов служит светский разговор образованных людей, среди которых присутствует и Гете. Диалоги чередуются с лаконичными описаниями и комментариями героя-рассказчика. Интенция сблизить форму произведения с античными диалогами обусловлена, как говорилось выше, новаторскими планами Герцена на обновление прозы, достигаемое контаминацией разных типов дискурсов. Диалогичность выступает как способ соотнесения разных индивидуальных голосов и точек зрения.

Не в последнюю очередь речь идет о периоде, когда Герцен сделал радикальную попытку оттолкнуться от «романтического мечтательства» и соответствующего персонажа. С другой стороны, апелляция к форме диалога, характерной для эллинской культуры, явствует из выбора имени одного из участников «светского» собеседования: к нему автор обращается «философ». Носящий «ледяную маску» собеседник, «путешественник», враг эгоизма, резонер Герцена, толкует назначение литературы, высказывая сомнения по поводу принципа «автобиографичности». Образ Гете, беспрестанно курсирующий в текстах Герцена с разными коннотациями¹, здесь символизирует дурное начало, ибо, согласно суждению персонажа-философа, Гете попадает в заколдованный круг собственной биографии. Автобиографичность как писательский метод мыслится как признак эгоизма, эгоцентризма и нарциссизма, как пренебрежение императивом всеобщих интересов человечества.

Погруженный в увековечивание собственной персоны Гете в этом месте лишен пьедестала, представлен как антигерой, «антиавтор», не соответствующий идеалу великого человека, некогда занявшему высшую точку в герценовской

¹ В. Г. Шукин в текстах Герцена о Гете склонен видеть источник для реконструкции фаз изменений в психике Герцена: «Прекрасным комментарием к сложной натуре Герцена является его отношение к Гете» (Шукин, 2001: 108).

иерархии ценностей. Резкий контраст биографии и истории преподнесен как дилемма индивидуального и коллективного: «<...> я готов преклонить колена пред творцом “Фауста”, так же, как готов раззнакомиться с тайным советником Гете, который пишет комедии в день Лейпцигской битвы и не занимается биографией человечества, непрерывно занимаясь своею биографией» (Герцен, 1954а: 120). Словоупотребление Герцена здесь отражает стремление к дифференцированию категорий *автор* и *писатель*: «творец» и «тайный советник» — проявления двуликого Януса, непримиримые начала. Золотая середина, однако, закономерно превращается в «серую середину», т. е. пошлую посредственность. Дуализм не превзойден; порождается новая оппозиция: Гете — тайный советник причисляется к «толпе», тогда как «творец» синонимичен выдающемуся индивиду, располагающему уникальными способностями, делающими его избранным.

В комплексе мотивов Овидиева текста вышеупомянутым образом озера, наряду со связанными с ним образами пруда, зеркальности, Герцен-автор одержим женщинами и любовью. Данный комплекс мотивов осложняется ощущением ностальгии, схожей с мироощущением «сына века», который в силу импликаций романтического кода становится вечным скитальцем в поисках потерянного Золотого века. В реальной жизни начинающего писателя ссылка и изгнанничество подводят итог периоду принадлежности к золотой молодежи: самолюбованию конец, лишенный всего пленник на эзоповом языке описывает свое положение в частном письме Наталье Александровне, будущей жене. Код текста предположительно известен адресату. Тон фрагмента последнего письма, отправленного из Перми перед переводом Герцена в Вятку, свидетельствует, что мотив *озера* в идеальном виде в представлении Герцена ассоциируется с гармонией, здесь же явлен мотив оледенелости. В результате он лишь напоминание о минувшем, об утраченном счастье: «Приехавши на место, я только узнал все, что потерял, расставаясь с Москвою, нет, сколько ни мудри, а разлука — дело ужасное; это замерзшее озеро и немо и холодно» (Герцен, 1961а: 41). Негативные эпитеты, иллюстрирующие тягостное положение Герцена, предстают как антонимы тепла, присущего описанию летней прогулки двух молодых людей из раннего автобиографического наброска, проанализированного выше.

Герцен, по всей вероятности, здесь имеет в виду неосуществимость созидания знака, «знаковой системы». Вот почему на берегу замерзшего озера царит *немота*. «Разлука» в этом отношении синонимична прекращению диалога. Сцепленные мотивы *любовь — прогулка — берег — цветок — сон* (последние два могут соотноситься: имя Наркиссос восходит к древнегреческому корню *наркос*, «сон») позже актуализируется в более зрелом тексте третьей части «Былого и дум»: Герцен проделывает ретроспективный самоанализ, называя препятствием к сближению с Натальей Александровной свою любовь к Л. В. Пассек, «юношескую,

чистую». Формулой, основанной на повторении мотивов стоячей воды и цветка, переплетающихся с мотивом сна, передается воспоминание об этих отношениях, приходящее как «память весенней прогулки на берегу моря, среди цветов и песен», «сновидение» (Герцен, 1956а: 330).

Нарушая хронологический принцип, в силу которого предполагается, что какой-либо изучаемый словесный мотив закономерно проходит эволюцию в разные периоды творчества отдельного автора и неизбежно имплицитно подразумевает систематическое переосмысление, мы лишь указываем на то, что мотив зеркала на страницах «Былого и дум» становится фокальной точкой рассказа об эпизоде беглого знакомства Герцена с девушкой Леонтиной в Париже: бросившись на кушетку, она заняла место против «большого зеркала», непрестанно всматривалась в него, *позировала* и гримасничала перед ним вовсе не без *кокетства* (Герцен, 1957а: 457). С одной стороны, важно, что кокетство как существенную приметку нарциссизма Герцен здесь сознательно соотносит с образом зеркала. Нельзя упускать из виду факт, что мотив зеркала, будучи чуть ли не доминирующим элементом рассказа, как бы стимулирует пробуждение воспоминаний о былом.

Мотив зеркала присутствует и в трактате Герцена «Письма об изучении природы» (1845) в контексте размышлений о становлении философской мысли человечества. Он служит цели раскрыть секретные механизмы познания, неотделимого от самопознания. Путь человеческой мысли рассматривается в историческом плане, процесс обрисовывается с помощью конкретизации типов «языков», свойственных отдельным эпохам, от осмысления сущности символа («вдохновенного символа мистического самопознания») вплоть до утверждения абстрагирующей силы языка. Такой подход свидетельствует о беспристрастности Герцена в обращении к своему материалу и о широком его интеллектуальном кругозоре, совмещающем сведения из самых разнообразных дискурсов. Здесь уместно напомнить, что на метафорическом языке Герцена слово *иероглиф*, применяемое с целью сформулировать собственное кредо, определяющее письмо как превращение фактов «жизни» собственной «души» в текст, состоящий из «иероглифов», несомненно включает в себя и семантику тайнописи. Одновременно Герцен декларирует неразрывность собственных творений с фактами автобиографии, что характеризует поэтику, ориентированную на самопознание.

В процессе познания, понимаемого как самопознание, язык играет роль инструмента, так как читатель через «иероглифический» текст, насыщенный большим количеством таинственных намеков, постепенно открывает специфические механизмы свойственного самому себе восприятия и в итоге постепенно подходит к самопознанию. По сути, в этом месте трактата Герцен касается проблемы авторской и читательской рефлексии, столь важной и в его личности, и в его поэтике. Любопытно заметить, что Герцен, недвусмысленно выявляя, что «само-

познание открывается не в одной науке», продолжает разворачивать умозрительную конструкцию в свете воззрений, возникших благодаря линии гностико-мистической традиции, намеченной именами Пифагора, учителя инициационного пути, и Беме, прославившегося к концу XVIII столетия как путешественник по загробному миру, опытный собеседник ангелов и духов¹. Символика зеркала способствует выявлению сущности феномена языка как способа познания: «Символика — язык, вдохновенный иероглиф мистического самопознания. Язык Пифагора, Прокла, язык Якова Беме, принимаемые ими символы всегда могут быть понимаемы разно; они, как *зеркало*, разуму отражают разум, а чувственности — чувственность» (Герцен, 1954д: 237). В сознании Герцена память о собственном писательском кредо, сформулированном, в частности, на основе понятия «иероглиф», неразрывно связана с идеей о самопознании. И все-таки образ иероглифического текста становится эквивалентом образа «зеркала».

Выводы можно суммировать так: во-первых, сам акт творения языка равнозначен процессу самопознания и познания мира; во-вторых, художественное письмо обусловлено непрерывным процессом самопознания, в свою очередь, необходимого для познания мира. В приведенном фрагменте образ зеркала наделен квинтэссенциальной функцией в процессе самопознания, здесь Герцен возводит его к архетипу, появившемуся в сюжете о Нарциссе.

Устремленность Герцена к самопознанию, его интерес к науке о душе, автобиографичность прозы неизбежно приводят к практике самонаблюдения. Впервые, пожалуй, на этот факт обратил внимание А. Н. Веселовский, говоря о склонности Герцена к «самоанализу» (Веселовский, 1909: 8, 15). Для определения данного феномена Гинзбург применила термин «автопсихологизирование». Именно с этим явлением В. С. Семенов связывал формирование хорошо знакомого герценовского героя, скептика, доктора Крупова, появившегося как воплощение веры писателя в миссию психиатрии (Семенов, 1989: 138). Нельзя не согласиться с теорией Гинзбург, которая, анализируя причины возникновения жанра психологического романа, рассматривала характеристику типа героя и автобиографичность текстов 1840-х гг. под углом зрения проблемы «внутреннего человека»: «Интерес к словесному закреплению душевной жизни, к автопсихологизированию, принадлежит отдельным эпохам — внутри каждой эпохи — отдельным поколениям и группировкам. В конце 30-х и в 40-х гг. “внутренний человек” расцвел пышным цветом. Переписка Белинского, Станкевича и Бакунина, переписка Герцена с женой и Огаревым свидетельствуют о том праве на внимание ко всем своим сложностям и глубинам, которая предъявляла тогда человеческая психика. Но уже в конце XVIII — начала XIX в. русский сентиментализм вы-

¹ Об этом напр. см. Gullely, 2006: 45–46.

двинул *внутреннего человека* <...>» (курсив Гинзбург. — Д. Й.) (Гинзбург, 2007: 185). Характеристики «сложность» и «глубина», которые Гинзбург использует в своих наблюдениях, соответствуют феномену погруженности индивида в сферу собственного я и раскрывают практику рефлексирования, присущего психологии нарцисса. «Внутренний человек», литературный тип, в свете интерпретации Гинзбург, в случае как Лермонтова (см.: Йожа 2015), так и Герцена отличается самосозерцанием, закодированным в истории Нарцисса. Он же, наделенный характеристиками героя-врача, который появился в литературе XIX в., служит раскрытию «психиатрической» темы у Герцена. Интерпретации ситуаций, суждения, скепсис Крупова, всегда встревоженного судьбами пациентов и знакомых, служат зеркалом, которое персонаж держит перед ними и читателем: в нем отражаются поступки действующих лиц. Функция зеркала здесь опять-таки не ограничивается отражением действительности, оно делает невидимое видимым, как бы заставляя глядящего вносить необходимые коррективы. Семенов рассматривает возникновение фигуры героя Крупова через призму социальной ее сущности и приписываемой ей миссии утопического обновления общества: «Только психиатрия — наука о душевных болезнях — может объяснить многие аномалии общественного устройства» (Семенов, 1989: 138). Однако, думается, в сознании Герцена данный персонаж призван пробудить в индивиде стремление к объективной оценке собственных мыслей и поступков. Находясь в статусе «двойника» автора, доктор Крупов показывает итоги его саморефлексий, иначе говоря, активно способствует процессу автопсихологизирования.

Знаменитая «исповедальность» прозы Герцена, автобиографичность, сочетается с тенденцией «автопсихологизирования», обуславливают порождение героя, слишком подобного писателю. Слова мемуариста Анненкова о кокетстве Герцена перед западной публикой совпадают с формулировкой А. П. Пятковского, который в статье 1859 г., увидевшей свет в «Журнале министерства народного просвещения», критически оценивал героя романа «Кто виноват?», выделив черты «гордости», «самонадеянности» и «непрактичности» в фигуре Бельтова. Позиция критика, как комментирует Г. Г. Елизаветина, возникла в результате одностороннего восприятия *обломовщины* в духе Н. А. Добролюбова. Поскольку оценка Пятковского ставится в широкий контекст критического разбора фигуры «русского» типа «сына века», меланхолического и обреченного на бездействие «лишнего человека», акцент падает на моральное осуждение этого типа под лозунгом служения деятелей словесности общественной пользе. В этом смысле на конфликт слова и дела в характере Бельтова критик указывает как на антецедент сущности обломовщины: «Щедрый на слова и скупой на упорные *продолжительные* труды» Бельтов не доделывает предпринятого, что критик комментирует вводом глагола особых стилистических свойств: «Бельтов бросил дело на пол-

дороге, *кокетничал* и *с собой* и с другими “глубиной своего понимания” <...>» (цит. по: Елизаветина, 1979: 66). Хорошо знакомое по трактовке Гинзбург выражение «глубина», которое естественно при изучении явления «автопсихологизирования», здесь сочетается с кокетством, типичным для нарцисса, избегающего настоящего влечения к другому, довольствуясь направлением силы либидо на собственное я. Кроме этого аспекта мнения Пятковского, нам приходится считаться и с эксплицитным намерением критика ввести в аргументацию психологический метод: он противоречит себе, когда, требуя отчета о выполнении долга, вдается в анализ интимной стороны психологии индивида. В этом парадоксе, однако, скрывается важное наблюдение Пятковского. Если кокетство в основном обозначает стремление понравиться кому-нибудь без реализации чувств, то фигура Бельтова представляет собой явление эстетическое. Нет сомнений, что предлагаемый критиком слегка сексуализированный образ протагониста, преподнесенный в таком виде ради вскрытия сущности его характера, соотносим с наиважнейшим проявлением нарциссизма.

Действие, развернутое Герценом в романе, и характеры героев подчиняются принципу зеркальности, унаследованному Герценом вместе с кодом романтизма, максимально обращенного к вскрытию дуализма бытия. В качестве антецедентов, однако, в первую очередь выделяются роман Лермонтова, в котором герой отражается в нескольких «зеркала», т. е. других персонажах и жанрах, и, разумеется, — «Евгений Онегин» Пушкина, ведь любовная интрига в структуре сюжета к финалу оборачивается негативным зеркальным отражением. Нельзя забывать, что проблематика этих произведений связана с размышлениями о судьбах героев, развертывающихся в контексте их психики, культуры и духа времени. Вовсе не в последнюю очередь их принято классифицировать как «лишних людей». Согласно парадигматическому принципу зеркальности эфемерность существования Бельтова, бесплодные его поиски Герцен принимает как конструктивный принцип. В характеристике Бельтова «лишность» — не как отрицательный признак зрелого мужчины, который, согласно неписаным законам общества, должен постоянно иметь в виду ответственность перед другими.

Здесь достаточно напомнить о проанализированном нами микроэтюде Герцена, где он трактует разные типы проявления «самолюбия», силы, имеющей двоякую природу. Вернее, крушение судьбы Бельтова символизирует трагедию индивида, «романтического мечтателя», избранника, нарцисса, отвергающего диалог и неспособного к познанию себя и поэтому бессильного для преодоления собственного солипсизма. Генеалогия этого типа имплицитно определяет его судьбу. Ведь романтический герой, который у Герцена одновременно является избранником, согласно прочтению Кантора, воплощает собой «сильный характер», а в силу законов «немецкой эстетики» он же «гений, в этом смысле равный Богу» (Кантор,

2012: 297). Под воздействием Жозефа Бельтов готовится к осуществлению грандиозных идей, их применению на практике, но из-за болезни «сына века» оказывается бессилён.

Мы отдаем себе отчет в том, что автобиографические моменты, присутствующие в произведениях современников Герцена — в трилогиях С. Т. Аксакова и Л. Н. Толстого, порождают отдельную линию русской литературы, однако у Герцена манифестируется гораздо более глубокое воззрение на метод самопознания, который выливается в собственную нарциссологию. Проанализировав широкий материал, мы должны заключить, что вместо созидания нарциссического текста Герцен сознательно разбирает элементы мифологемы о Нарциссе, размышляя над разными аспектами этого феномена.

Литература

- Айхенвальд Ю. И. (1998) Силуэты русских писателей. В 2 т. Т. 2. М.: ТЕРРА-Республика.
- Анненков П. В. (1983) Литературные воспоминания. М.: Художественная литература.
- Бахтин М. М. (2003) Философская эстетика 1920-х годов // Бахтин М. М. Собрание сочинений в 7 т. Том 1. М.: Русские словари. Языки славянской культуры.
- Веселовский А. Н. (1909) Герцен-писатель. М.: Типолиитография Т-ва И. Н. Кушнерев.
- Гай Г. Н. (1959) Роман и повесть Герцена 30–40-х годов. Киев: Изд. Киевского университета.
- Герцен А. И. (1954а) Первая встреча // Герцен А. И. Собрание сочинений в 30 т. Москва: Наука, 1954–1966. Т. 1. С. 108–122.
- Герцен А. И. (1954б) <Не долго продолжалось его одиночество...> [отрывок] // Там же. С. 317–319.
- Герцен А. И. (1954в) <Записки А. Л. Витберга> // Там же. С. 380–452.
- Герцен А. И. (1954г) Рассказы о временах меровингских. Статья первая // Герцен А. И. Собрание сочинений в 30 т. Москва: Наука, 1954–1966. Т. 2. С. 7–11.
- Герцен А. И. (1954д) Письма об изучении природы // Там же. Т. 3. С. 91–316.
- Герцен А. И. (1955) Кто виноват? // Там же. Т. 4. С. 5–210.
- Герцен А. И. (1956а) Былое и думы // Там же. Т. 8.
- Герцен А. И. (1956б) Былое и думы // Там же. Т. 10.
- Герцен А. И. (1957а) Былое и думы // Там же. Т. 11.
- Герцен А. И. (1957б) Княгиня Екатерина Романовна Дашкова // Там же. Т. 12. С. 361–422.
- Герцен А. И. (1958) Победа, одержанная храбрым генералом Мухановым, что на Висле // Там же. Т. 14. С. 290.
- Герцен А. И. (1960а) Порядок торжествует! [Комментарии] // Там же. Т. 19. С. 166–199, 351.
- Герцен А. И. (1960б) Публицистические и художественные произведения 1867–1869 годов // Там же. Т. 20. Кн. 2.
- Герцен А. И. (1961а) Письмо Н. А. Захарьиной от 29 апреля 1835 г. // Там же. Т. 21. С. 40–41.
- Герцен А. И. (1961б) Письмо Н. И. Сазонову и Н. Х. Кетчеру. Октябрь (вторая половина) 1836 г. // Там же. Т. 21. С. 111–113.

- Гинзбург Л. Я. (1977) О психологической прозе. Л.: Художественная Литература.
- Гинзбург Л. Я. (1997) Автобиографическое в творчестве Герцена // Герцен в кругу родных и друзей. Кн. I. Литературное наследство. Т. 99. М.: Наука, 1997. С. 7–54.
- Гинзбург Л. Я. (2007) Работы довоенного времени. СПб.: Петрополис, 2007.
- Гончаров И. А. (1980) Милльон терзаний // Гончаров И. А. Собрание сочинений в 8 т. М.: Художественная литература, 1977–1980. Т. 8. С. 18–51.
- Гурвич-Лишинер С. Д. (1996) Герцен на пороге XXI века // Вопросы литературы. № 5. С. 133–136.
- Дрыжакова Е. Н. (2004) Шесть европейских «масок» Онегина в восприятии Герцена // Пушкин. Исследования и материалы. Т. XVI–XVII. СПб.: «Наука». С. 243–250.
- Евлампиев И. И. (2000) История русской метафизики в XIX–XX веках. СПб.: Алетейя.
- Елизаветина Г. Г. (1979) «Кто виноват?» Герцена в восприятии русских читателей и критики XIX века // Литературные произведения в движении / Отв. ред. Н. В. Осьманов. М.: Наука. С. 41–74.
- Зеньковский В. В. (1991) История русской философии в 2 тт. Т. I. Ч. 2. Л.: ЭГО.
- Ичин К. (2007) Поэтика изгнания. Овидий и русская поэзия. Белград: Издательство Филологического факультета в Белграде.
- Йожа Д. З. (2015) Лермонтовский вариант «лишнего человека» между индивидуализмом и нарциссизмом // Dohnal, Jozef (ред.) Revitalizace hodnot: umění a literatura : Týmová monografie. Brno, 2015, Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy university. P. 305–314.
- Йожа Д. З. (2018а) Зеркало в зеркало. Герцен: автобиографичность и самопознание // Голоса русской филологии из Будапешта. Литературоведение и языкознание на Кафедре русского языка и литературы Университета им. Лоранда Этвеша / Гл. ред. К. Кроо. Будапешт: Eötvös kiadó, 2018. С. 82–94.
- Йожа Д. З. (2018б) Нарцисс и «лишний человек». Случай Герцена // Studia Slavica Hungarica. № 63/1. С. 67–78.
- Кантор В. К. (2011) «Крушение кумиров», или Одоление соблазнов (Становление философского пространства в России). М.: РОССПЭН.
- Кантор В. К. (2012) Кто виноват, или Безумие исторического процесса // Вопросы литературы. 2012. № 6. С. 259–331.
- Кохут Х. (2003) Анализ самости: Систематический подход к лечению нарциссических нарушениях личности. М.: Когито-Центр.
- Манн Ю. В. (1969) Философия и поэтика «натуральной школы» // Проблемы типологии русского романтизма / Ред. Н. Л. Степанов, У. Р. Фохт. М.: Наука. С. 241–305.
- Огарев Н. П. (1952) Избранные социо-политические и философские произведения в 2 т. / Ред. М. Т. Иовчук, Н. Г. Тараканов. Т. 1. М.: Государственное издательство политической литературы.
- Пруцков Н. И. (1962) «Кто виноват?» // История русского романа в 2 тт. М.-Л.: Издательство Академии наук СССР. Т. 1. С. 560–582.

- Путинцев В. А. (1963) Герцен-писатель. М.: Издательство Академии наук СССР.
- Святополк-Мирский Д. П. (2005) История русской литературы. Новосибирск: Свиньин и сыновья.
- Семенов В. С. (1989) Герцен. М.: Современник.
- Соколов-Теплов М. В. (1962) Психологические идеи Герцена // Вопросы философии. 1962. № 2. С. 3–18.
- Толстой Л. Н. (1984) [Запись от 4.8.1860] // Толстой Л. Н. Собрание сочинений в 22 т. 1979–1985. Т. 21. Избранные дневники 1847–1894.
- Тучкова-Огарева Н. А. (1956) Воспоминания // Герцен в воспоминаниях современников / Сост., вступ. статья и комм. В. А. Путинцева. М.: Гос. издательство художественной литературы. С. 248–257.
- Фреде В. (2001) История коллективного разочарования: дружба, нравственность и религиозность в дружеском круге А. И. Герцена — Н. П. Огарева // Новое литературное обозрение. 2001. № 3. С. 159–190.
- Фромм Э. (1994) Анатомия человеческой деструктивности. М.: Республика.
- Щукин В. Г. (2001) Русское западничество. Генезис — сущность — историческая роль. Łódź: Ibidem.
- Элиаде М. (2000) Миф о вечном возвращении. М.: Научно-издательский центр «Ладомир».
- Эльсберг Я. А. (1948) А. И. Герцен. М.: ОГИЗ. Государственное издательство художественной литературы.
- Эткинд Е. Г. (1998) «Внутренний человек» и внешняя речь. Очерки психоэтики русской литературы XVIII–XIX вв. М.: Языки русской культуры.
- Chances E. B. (1978) Conformity's Children. An Approach To The Superfluous Man in Russian Literature. Ohio: Slavica Publishers.
- Epstein M. (2012) Russian Spirituality and the Theology of Negation. Las Vegas: University of Nevada.
- Grunberger B. (1979) Narcissism. Psychoanalytic Essays. New York: International Universities Press.
- Guiley R. (2006) The Encyclopaedia of Magic and Alchemy, New York: Facts on File.
- Kohut H. (1977) The Analysis of the Self. Chicago: University of Chicago Press.
- Lacan J. (2006) Écrits. The First Complete Edition in English. New York — London, W. W. Norton & Company.
- Malia M. (1961) Alexander Herzen and the Birth of Russian Socialism 1812–1855. Cambridge: Harvard University Press.

HERZEN: WRITER, AUTHOR AND HIS HERO

György Zoltán Józsa

Doctor of Philosophy (Ph.D.) (in Russian Literature), Adjunct professor at the Department of Russian Language and Literature, Budapest University of Sciences named after Loránd Eötvös (ELTE). 1088, Budapest, Múzeum krt. 4/D.
E-mail: jozsagyz@gmail.com

The subject of the article is the complex phenomenon of Narcissism in Herzen's oeuvre and personality. First of all, narcissism is considered as the comprehension of the way to self-knowledge, due to which the gradual surpassing of the autobiographical principle in Herzen's fiction takes place. Special attention is paid to the Herzen's interpretation of the elements of the myth about Narcissus. The analysis relies on the examination of many resources, including the texts written by the author, contemporary memoirs, and critical articles of historians of literature. The issue which is considered in the article becomes of great importance in the light of Bakhtin's theory of "author and hero".

Keywords: Herzen, the myth of Narcissus, narcissism, the author and the hero, self-knowledge, inner man, the "superfluous man", the mirrorlike, psychopoetics.

References

- Ajhenval'd Ju. I. (1998) *Silujety russkih pisatelej* [Silhouettes of Russian Writers], 2 Vols, Vol.2, Moscow: TERRA — Respublika (In Russian).
- Annenkov P. V. (1983) *Literaturnye vospominan'ija* [Literary Memoirs]. Moscow: Khudozhestvennaja literatura (In Russian).
- Bakhtin M. M. (2003) *Filosofskaja jestetika 1920-h godov* [Philosophical aesthetics of the 1920s], *Sobranije sochinenij v 7 t.* [Works], 7 Vols, Vol. 1, Moscow: Russkie slovari. Jazyki slav'janskoj kul'tury (In Russian).
- Veselovskij A. (1909) *Gertsen-pisatel'* [Herzen the writer], Moscow: Tipoliografija T-va I. N. Kusn'erev (In Russian).
- Gaj G. N. (1959) *Roman i povest' Gertsena 30–40-kh godov* [Herzen's Novel and Tale in the 30's and 40's], Kiev: Izd. Kievskogo universiteta (In Russian).
- Gercen A. I. (1954a) *Pervaja vstrecha* [First meeting], *Sobranie sochinenij v 30 t.* [Collected Works] 30 Vols, Vol. 1, Moscow: Nauka, 1954–1966, pp. 108–122 (In Russian).
- Gercen A. I. (1954b) <Ne dolgo prodolzhalos' ego odinochestvo...> [otryvok] <His loneliness did not last long ...> (excerpt), *Ibid.*, pp. 317–319 (In Russian).
- Gercen A. I. (1954c) <Zapiski A. L. Vitberga> [<Notes by A. L. Vitberg>], *Ibid.*, pp. 380–452 (In Russian).

- Gercen A. I. (1954d) Rasskazy o vremenah merovingskih. Stat'ja pervaja [Stories about the times of Merovingian. Article One], *Sobranie sochinenij v 30 t. [Collected Works] 30 Vols*, Vol. 2, pp. 7–11 (In Russian).
- Gercen A. I. (1954e) Pis'ma ob izuchenii prirody [Learning Letters], Vol. 3, pp. 91–316 (In Russian).
- Gercen A. I. (1955) Kto vinovat? [Who's guilty?], *Ibid.*, Vol. 4, pp. 5–210 (In Russian).
- Gercen A. I. (1956a) Byloe i dumy [Past and Thoughts], *Ibid.*, Vol. 8 (In Russian).
- Gercen A. I. (1956b) Byloe i dumy [Past and Thoughts], *Ibid.*, Vol. 10 (In Russian).
- Gercen A. I. (1957a) Byloe i dumy [Past and Thoughts], *Ibid.*, Vol. 11 (In Russian).
- Gercen A. I. (1957b) Knjaginja Ekaterina Romanovna Dashkova [Princess Ekaterina Romanovna Dashkova], *Ibid.*, Vol. 12, pp. 361–422 (In Russian).
- Gercen A. I. (1958) Pobeda, oderzhannaja hrabrym generalom Muhanovym, chto na Visle [The victory won by the brave general Mukhanov on the Vistula], *Ibid.*, Vol. 14, pp. 290 (In Russian).
- Gercen A. I. (1960a) Porjadok torzhestvuet! [Kommentarii] [Order triumphs! (Comments)], *Ibid.*, Vol. 19, pp. 166–199, 351 (In Russian).
- Gercen A. I. (1960b) Publicisticheskie i hudozhestvennye proizvedenija 1867–1869 godov [Journalistic and artistic works of 1867–1869], *Ibid.*, Vol. 20, Iss. 2 (In Russian).
- Gercen A. I. (1961a) Pis'mo N. A. Zahar'inoj ot 29 aprelja 1835 g. [Letter from N.A. Zakharyina of April 29, 1835], *Ibid.*, Vol. 21, pp. 40–41 (In Russian).
- Gercen A. I. (1961b) Письмо Н. И. Сазонову и Н. Х. Кетчеру. Oktjabr' (vtoraja polovina) 1836 g. [Letter to N. I. Sazonov and N. Kh. Ketcher. October (second half) 1836], *Ibid.*, Vol. 21, pp. 111–113.
- Ginzburg L. Ja. (1977) O psikhologicheskoy proze [On Psychological Prose], Leningrad: Khudozhestvennaja literatura (in Russian).
- Ginzburg L. Ja. (1997) Avtobiograficheskoe v tvorcestve Gercena [The Autobiographical in Herzen's Oeuvre], *Gertsen v krugu rodykh i druž'ej. Literaturnoe nasledstvo*, Vol. 99, Moscow: Nauka, pp. 7–54 (in Russian).
- Ginzburg L. Ja. (2007). Raboty dovoennogo vremeni. [Pre-War Works]. Sankt-Peterburg: Petropolis (in Russian).
- Goncharov I. A. (1980) Mil'on terzanij [Million torment], *Sobranie schinenij v 8 tt. (1977–1980) [Complete Works 1977–1980] 8 Vols*, Vol. 8, pp. 18–51, Moscow: Khudozhestvennaja literatura (In Russian).
- Grunberger B. (1979) Narcissism. Psychoanalytic Essays. New York: International Universities Press (In English).
- Guiley R. (2006) The Encyclopaedia of Magic and Alchemy, New York: Facts on File (In English).
- Gurvich-Lishiner S. (1996) Gertsen na poroge XXI veka [Herzen on the Threshold of the 21st century], *Voprosy literatury*, 1996, no. 5, pp. 133–136 (In Russian).
- Dryzhakova Je. N. (2004). Shest' jevropejskikh masok Onegina v vosprijatii Gertsena [Onegin's Six European Masques in Herzen's Reception] *Pushkin. Issledovanija i materaly*, Vols. XVI–XVII. St. Petersburg: Nauka, pp. 234–250 (In Russian).

- Jevlampiev I. I. (2000). Istorija russkoj metafizika v 19-20 vekakh [The History of Russian Metaphysics in the 19-20th centuries], St. Petersburg: Aleteia (In Russian).
- Jelizavetina G. G. (1979) «Kto vinovat?» Gertsena v vosprijat'ii ruskikh chitat'elej i kritiki XIX veka [«Who Is to Blame?» by Herzen in the Perception of 19th-century Russian Readers and Critics], *Literaturnye proizvedenija v dvizhenii [Works of Literature on the Move]* (editor-in-chief Os'manov N. V.), Moscow: Nauka, pp. 41–74 (In Russian).
- Zen'kovskij V. V. (prot.) (1991). Istorija russkoj filosofii v 2-kh tt. [The History of Russian Philosophy] 2 Vols. Vol. 1, part 2, Leningrad: EGO (In Russian).
- Ichin K. (2007) Poetika izgnanija. Ovid'ij i russkaja poezija [The poetics of exile. Ovid and Russian poetry], Beograde: Izdatel'stvo Filologicheskogo fakulteta v Bel'grade (In Russian).
- Iozha D. Z. (2015) Lermontovskij variant «lishnego cheloveka» mezhdu individualizmom i nart-sissizmom [The Lermontovian Version of the «Superfluous Man» between Individualism and Narcissism], *Revitalizace hodnot: uměni a literatura: Týmová monografie*, Dohnal, Jozef (ed.), Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, pp. 305–314 (In Russian).
- Iozha D. Z. (2018a) Zerkalo v zerkalo. Gertsen: avtobiografichnost' i samopoznan'ie [Mirror into Mirror. Herzen: Autobiography and Self-Knowledge], *Golosa russkoj filologii iz Budapeshta. Literaturovedenie i jazykoznan'ie na Kafedre ruskogo jazyka i literatury Universiteta im. Loranda Etvesa* (editor-in-chief Kroo, K.) Budapest: Eötvös kiadó, pp. 82–94 (In Russian).
- Iozha D. Z. (2018b). Nartsiss i «lishn'ij chelovek». Sluchaj Gertsena. [Narcissus and the «Superfluous Man»], *Studia Slavica Hungarica*, Vol. 63, no. 1, pp. 67–78 (In Russian).
- Józsa Gy. Z. (2015). Otvuki mifologemy o Nartsisse v «Geroe nashego vremeni» i v junosheskoj poeme «Jevgen'ij» [Resounding the Mythologeme on Narcissus in «A Hero of Our Time» and the juvenile poem «Jevgen'ij»], Gyöngyösi M., Kroó K., Szabó T. (ed.) *Lermontov in 21st Century Literary Criticism*, Budapest: ELTE PhD Programme “Russian Literature and Literary Studies”, ELTE BTK “Orosz Irodalom és Irodalomkutatás” Doktori Program, pp.108–119 (In Russian).
- Kantor V. (2012). Kto vinovat, ili bezumie istoricheskogo protsessa [Who Is to Blame, or the Craze of the Historical Process], *Voprosy literatury*, no. 6, pp. 259–331 (In Russian).
- Kantor V. (2011). «Krushenie kumirov» ili Odolenie Soblaznov (Stanovlenie filosoficheskogo prostrantva v Rossii.) [«The Downfall of Idols» or Surpassing Seductions (The Formation of Philosophical Space in Russia)], Moscow: ROSSPEN (In Russian).
- Kohut H. (1977). *The Analysis of the Self*. Chicago: University of Chicago Press (In English).
- Lacan J. (2006). *Écrits. The First Complete Edition in English*. New York-London: W. W. Norton & Company (In English).
- Malia M. (1961). *Alexander Herzen and the Birth of Russian Socialism 1812–1855*. Cambridge: Harvard University Press.
- Mann Ju. (1969) Filosofija i poetika «natural'noj shkoly» [The Philosophy and Poetics of «Natural School»]/ Stěpanov N. L., Fokht U. R. (ed.) *Problemy t'ipologii ruskogo romantizma*. Moscow: Nauka, pp. 241–305 (In Russian).

- Ogar'ev N. P. (1952) *Izbrannye sotsio-politicheskiye i filosofskije proizved'eniya* (1952–1956) [Selected Socio-political and Philosophical Works (1952–1956)] (ed. Iovchuk M. T., Tarakanov N. G.). Moscow: Gosudarstvennoe izdatel'stvo politicheskoj li'teratury (In Russian).
- Prutskov N. I. (1962) «Kto vinovat?» [«Who is To Blame?»], *Istorija russkogo romana*. 2 Vols. Vol. 1, pp. 560–582. Moscow-Leningrad: Izdatel'stvo Akad'emii nauk SSSR (In Russian).
- Putintsev V. A. (1963) *Gertsen-pisatel'* [Herzen, the Writer], Moscow: Izdatel'stvo Akad'emii nauk SSSR (In Russian).
- Svyatopolk-Mirskij D. kn. (2005) *Istorija russkoj li'teratury* [A History of Russian Literature] Novosibirsk: Svin'in i synov'ja (In Russian).
- Semenov V. (1989) *Gertsen* [Herzen], Moscow: Sovremennik (In Russian).
- Sokolov M. V., Teplov B. M. (1962) *Psikhologicheskie id'ei Gertsena* [Psychological Ideas by Herzen], *Voprosy psikhologii*, no. 2, pp. 3–18 (In Russian).
- Tolstoj L. N. *Sobranie socin'enij* (1979–1985) [Complete Works (1979–1985)], 22 Vols, Vol. 21, Moscow: Khudozhestvennaja li'teratura (In Russian).
- Tuchkova-Ogar'eva N. A. (1956) *Vospominan'ija* [Memoirs], *Gertsen v vospominan'ijakh sovremennikov* [Herzen in the memoirs of contemporaries], (ed. by Pu'tintsev V. A.) Moscow: Gosudarstvennoe izdatel'stvo khudozhestvennoj literatury, pp. 248–257 (In Russian).
- Frede V. (2001) *Istorija kollekt'ivnogo razocharovaniya: družba, npravstvennost', i religioznost' v družeskom krugu A. I. Gertsena–N. P. Ogar'eva* [The History of Collective Disappointment: Friendship, Morals and Religiousness in the Circle of Friends of A. I. Gertsen–N. P. Ogar'ev]. *Novoe literaturnoe obozren'ie*, no. 3, pp. 159–190 (In Russian).
- Fromm E. (1994) *Anatomija chelovecheskoj d'struktivnost'i* [The Anatomy of Human Destructiveness]. Moscow: Respublika (In Russian).
- Chances E. B. (1978). *Conformity's Children. An Approach To The Superfluous Man in Russian Literature*. Ohio: Slavica Publishers.
- Shchukin V. (2001) *Russkoje zapadn'ichestvo. Genezis–sushnost'–istoricheskaja rol'*. [Russian Westernism. Origins–Essence–Historical Role] Łódź: Ibidem (In Russian).
- Eliade M. (2000) *Mif o vechnom vozvrashchenii* [The Myth of the Eternal Return], Moscow: Nauchno-izdatel'skij tsentr «Ladimir» (In Russian).
- El'sberg Ja. A. (1948) *A. I. Gertsen* [A. I. Herzen]. Moscow: «OGIZ» Gosudarstvennoe izdatel'stvo khudzhestvennoj li'teratury (In Russian).
- Epstein M. (2012) *Russian Spirituality and the Theology of Negation*. Las Vegas: University of Nevada.
- Etkind Je. G. (1998). «Vnutrennij chelovek» i vn'sen'jaja rech'. *Ocherki psikhopoetiki russkoj li'teratury XVIII-XIX vekov* [Psychopoetics. «Inner Man» and Outer Speech. Articles and Studies on Russian Literature of 18th-19th cent.], Moscow: Yazyki russkoj kul'tury (In Russian).